

ХУДЯКОВ

РАЗСКАЗЫ О ВЕЛИКИХЪ ЛЮДЯХЪ.

СРЕДНИХЪ И НОВЫХЪ ВРЕМЕНЪ.

ПРЕДЪСЛОВІЕ АЛЕКСИЯ СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА
ПЕТРОВИЧА ЗАВЕРШАЮЩАЯ ПЕЧАТЬ ВЪВЕДЕНІЮ ПЕЧАТИ
ИЗДАТЕЛЬ.

ИЗДАНИЕ
И. А. ГАЙДЕНКО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАТЕЛЬ.

САМОУЧИТЕЛЬ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМЪ ОБЪЕМЪМЪ ПРАВОСЛАВІЯ.

Составилъ А. А. ГАЙДЕНКО.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАТЕЛЬ.

Содержитъ: 1. Основныя вѣры, 2. Основныя заповѣди, 3. Основныя таинства, 4. Основныя молитвы, 5. Основныя церковныя правила, 6. Основныя церковныя праздники, 7. Основныя церковныя должности, 8. Основныя церковныя предметы, 9. Основныя церковныя книги, 10. Основныя церковныя предметы, 11. Основныя церковныя предметы, 12. Основныя церковныя предметы.

ИЗДАТЕЛЬ.

John Khoudiakoff

ИВАНЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ ХУДЯКОВЪ

ОПЫТЪ АВТОБИОГРАФИИ

ЖЕНЕВА

Издательство Русскаго Товариства
1902.

ВЕРХОЯНСКІЙ СБОРНИКЪ.

Изустнаго свѣдѣнія, пѣсни, загадки и пословицы, а также русскія свѣдѣнія и пѣсни записанныя въ Верхоянскомъ округѣ.

Н. А. Худяковымъ.

ИЗДАНО НА СРЕДСТВА Н. М. Сибирякова.

Иркутскъ.
Печатня въ Типографіи К. Г. Давыдова.
1900.

Эм. Виленская

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

Annotation

Книга знакомит читателя с жизнью, деятельностью и трагической судьбой одного из тех революционеров, которые собственной жизнью вымостили путь для последующих поколений революционных деятелей, Иваном Александровичем Худяковым.

[Адаптировано для AlReader]



FB2 книгу сделал mefysto

-
- [Эм. Виленская](#)
 -
 -
 - [ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 -
 -
 -

-
-
-
-
-
-
-
-

- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)

- [INFO](#)

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [comments](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [16](#)

- [17](#)

- [18](#)

- [19](#)

- [20](#)

- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)

- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)

- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)

- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)

- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)

- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)

- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)

- [294](#)
 - [295](#)
 - [296](#)
 - [297](#)
 - [298](#)
 - [299](#)
 - [300](#)
-

ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 7
(467)

МОСКВА
1969

Эм. Виленская

ХУДЯКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

© Издательство «Молодая гвардия», 1969 г.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ХУДЯКОВ. Многие ли откроют эту книгу без недоуменного вопроса: а кто он такой? Многие ли в наши дни знают имя человека, сто лет назад, почти юношей, прославившегося учеными изысканиями по фольклору и этнографии, книжками для народа и самоотверженной борьбой с самодержавием?

Как часто даже в научной биографической литературе встречается слово «забытый». И как горько слышать его, это слово, применительно к людям, заслужившим всей жизнью своей благодарную память потомства.

В числе забытых оказался и Худяков. Над этим изрядно потрудились царские власти. Долго, очень долго — вплоть до революции 1905–1907 годов — его имя не допускалось в печать. Лишь в зарубежных изданиях русской политической эмиграции да в нелегальной литературе революционного подполья его поминали добрым словом. Изредка, бывало, промелькнет несколько строк о рано погибшем талантливом ученом, о собранных им сказках или загадках — и то в книгах, рассчитанных на узкий круг специалистов-филологов.

Из тьмы забвения Худякова вывела первая русская буржуазно-демократическая революция. Стали печататься его собственные воспоминания (хотя и урезанные цензурой), исследовательские статьи о его

трудах и участии в революционной борьбе. Но по-настоящему изучение научной и революционной деятельности Худякова началось только в советские годы, когда окружили почетом имена борцов за революцию, погибших в неравной схватке с царизмом. Об ученом и революционере стало возможным писать открыто и черпать материалы из ранее засекреченных архивов тайной полиции.

Впервые появилась и книжка о Худякове, предназначенная для читателя-неспециалиста. Советский историк М. М. Клебенский, исследователь русского революционного движения середины XIX века, одновременно с разработкой научных проблем познакомил и широкую читательскую массу с жизнью и деятельностью Худякова. Это было научное исследование, изложенное в популярной форме. Книжка была небольшой по объему и называлась «И. А. Худяков. Революционер и ученый». Вышла она в 1929 году.

С тех пор прошло сорок лет. Книжки Клебенского давно уже не найти на книжных полках массовых библиотек. Очень редко можно встретить ее в букинистических лавках. Опять имя Худякова стало покрываться туманом забвения. И современному читателю приходится снова «открывать» эту замечательную личность, олицетворявшую собой все честное и свободолобивое, борющееся и несгибаемое, что было в России того времени.

Но Худяков не был забыт учеными — историками, филологами, этнографами. О нем появлялись статьи и материалы, проливавшие новый свет на облик и деятельность революционера и писателя. Было (и есть) немало споров в трактовке воззрений и характера революционной борьбы Худякова. Одни видят в нем «чистого» пропагандиста, не склонного к заговорщической тактике (В. Г. Базанов, Р. В. Филиппов), другие — и в их числе автор данной книги — считают, что он сочетал пропагандистскую и заговорщическую деятельность. Но все сходятся на том, что Худяков был революционером, демократом, утопическим социалистом.

Всех, кому дорого революционное прошлое нашей страны, мы и ходим познакомить с жизнью, деятельностью и трагической судьбой одного из тех революционеров, которые собственной жизнью вымостили путь для последующих поколений революционных деятелей.

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Незрелому состоянию капиталистического производства, незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории. Решение общественных задач, еще скрытое в неразвитых экономических отношениях, приходилось выдумывать из головы. Общественный строй являл одни лишь недостатки; их устранение было задачей мыслящего разума.

Ф. Энгельс, Развитие социализма от утопии к науке. (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 19, стр. 194.)

И. А. Худякову не исполнилось еще девятнадцати лет, когда он выпустил свою первую книгу, и было не более двадцати одного года, когда он стал деятельным участником революционной борьбы.

В апреле 1866 года Худяков был арестован по делу Д. В. Каракозова, совершившего 4 апреля покушение на жизнь царя Александра II. Оба они принадлежали к одной и той же тайной организации революционеров, известной под именем Ишутинского кружка.

Это первое покушение на «божья помазанника» было в то время фактом, беспрецедентным в русской истории. Не то чтобы неприкосновенность царствующих особ так уж строго соблюдалась в России. Стоит вспомнить императора Петра III, убитого в 1762 году фаворитом его супруги, Екатерины II, будущим графом Орловым, или задушенного в 1801 году его же ближайшими придворными Павла I. Но между этими акциями и покушением 4 апреля не было ничего общего — ни в политическом, ни в моральном отношении.

Титулованные убийцы убирали одного монарха, чтобы расчистить путь другому. Их действия не угрожали монархическому строю. Каракозов же метил не в данного царя, а во всю систему самодержавия. «Пусть узнает русский народ своего главного могучего врага, будь он Александр Второй или Александр Третий и так далее, это все равно», — писал он в прокламации «Друзьям-рабочим», которую распространял в Петербурге

перед покушением^{1}.

Орловы и другие обдeldывали свои дела под покровом строжайшей государственной тайны, пользуясь свободой доступа к намеченным жертвам. Они действовали с молчаливого согласия новых претендентов на престол и при моральной поддержке дворянства. Они не подлежали суду общественного мнения, а тем более суду уголовному.

Каракозов считал себя представителем народа и потому стрелял открыто, на виду у всех. Он шел на верную смерть, убежденный, что его покушение послужит сигналом для народного восстания и что это восстание положит начало новой эре в России — эре политической свободы и социализма. «Справится народ со своим главным врагом, '— говорилось в его прокламации, — остальные мелкие — помещики, вельможи, чиновники и другие богатеи струсят, потому что число их вовсе незначительно. Тогда-то и будет настоящая воля. Земля будет принадлежать не тунеядцам, ничего не делающим, а артелям и обществам самих рабочих. И капиталы не будут проматываться царем, помещиками да сановниками царскими, а будут принадлежать тем артелям рабочих»^{2}.

Такое представление о путях, ведущих к «настоящей воле», к социализму, было столь же утопичным, как и уверенность, что совсем нетрудно сокрушить немногочисленных богатеев, а с ними вместе и весь общественный строй, основанный на угнетении человека человеком. Революция — это взрыв, подготовляемый накоплением различных экономических, социальных и политических факторов. Ее не вызвать ни выстрелом в царя, ни другими искусственными мерами. Смертью самодержца не уничтожить самодержавия. Сила господствующего класса не в его численности: угнетателей всегда меньше, чем угнетаемых. Но только в моменты революционных бурь количественный перевес становится важным фактором общественной борьбы. В периоды же более или менее мирного развития господство класса проявляется через государственную власть и ее разветвленный аппарат. Наконец, с гибелью политической системы самодержавия не рухнет экономический строй, опирающийся на частную собственность. Все это, безусловно, так.

Может быть, на том и поставить точку? Стоит ли раздумывать над социальными утопиями и политическими иллюзиями, несостоятельность которых доказана ходом истории? Не проще ли их осудить как ненужные и даже вредные зигзаги общественной мысли, от которых никакой пользы ни научному познанию законов исторического развития, ни делу социального и политического преобразования общественных отношений?

Есть строгие судьи истории, которые рассуждают именно так. Они твердо усвоили дефиницию толковых словарей: «Утопия — нереальное пожелание, несбыточная мечта, вымысел». Для них, людей, уверовавших в собственную трезвость ума, утопии — это то, что противостоит науке, не имеет никаких с ней точек соприкосновения и даже служит серьезной помехой развитию научных идей. Иначе говоря, утопии беспочвенны и бесплодны. Вывод этот уложен в формулу: утопии — «слабая сторона» демократических теорий.

Схема эта может показаться убедительной и логичной. И как просто решались бы исторические проблемы, если бы они укладывались в такую вот схему. Но не спешите под ней подписываться. Она соответствует законам формальной логики, но не выдерживает проверки законами диалектики.

Прислушаемся к голосу основоположников научного коммунизма, к голосу тех, кто преодолел утопизм и поставил на научные основы изучение общественных явлений. Маркс, имея в виду Фурье, Оуэна, Сен-Симона и других утопических социалистов, писал: «...мы не должны отречься от этих патриархов социализма, как современные химики не могут отречься от своих родоначальников — алхимиков»^[3]. Одно заглавие известной работы Ф. Энгельса — «Развитие социализма от утопии к науке» указывает на преемственную связь между социальными утопиями и научным коммунизмом. О том, что утопический социализм не был бесплоден, явившись одним из источников марксизма, писал и В. И. Ленин в статье «Три источника и три составных части марксизма»^[4].

Разумеется, признание той роли, какую сыграл утопический социализм, не означало отказа от критики как ранних, так и позднейших утопий, вплоть до народнического социализма. И эта критика была бескомпромиссной и глубоко принципиальной, однако отнюдь не страдала односторонностью, свойственной формально-логическому мышлению, которое так зло высмеял Энгельс. Подвергнув критическому разбору идеи великих утопистов Запада, Энгельс в то же время писал: «Предоставим литературным лавочникам самодовольно перетряхивать эти, в настоящее время кажущиеся только забавными, фантазии и любоваться трезвостью своего собственного образа мыслей по сравнению с подобным «сумасбродством». Нас гораздо больше радуют прорывающиеся на каждом шагу сквозь фантастический покров зародыши гениальных идей и гениальные мысли, которых не видят эти филистеры»^[5].

Это было написано в 1877–1878 годах, когда марксизм завоевывал

господствующие позиции в мировой теоретической мысли. Что же можно сказать о современных «трезвых умах», которые поучают мыслителей и деятелей прошлого, как надлежало им думать и как действовать!

Основной гениальной идеей социальных утопий являлась идея замены частной собственности собственностью общественной. И хотя ее исходным моментом была еще не наука об экономических законах капиталистической эволюции, а этический фактор (несправедливость эксплуатации человека человеком, в силу скопления богатств у одних и нищеты других), тем не менее она дала движение научной мысли. Как писал Ф. Энгельс в предисловии к первому немецкому изданию «Нищеты философии» К. Маркса (1885), «что неверно в формально-экономическом смысле, может быть верно во всемирно-историческом смысле. Если нравственное сознание массы объявляет какой-либо экономический факт несправедливым, как в свое время рабство или барщину, то это есть доказательство того, что этот факт сам пережил себя, что появились другие экономические факты, в силу которых он стал невыносимым и несохранимым. Позади формальной экономической неправды может быть, следовательно, скрыто истинное экономическое содержание»^[6].

В этих словах содержится ответ на вопрос: представляли ли собой социальные утопии что-то беспочвенное, вроде патологического нароста на общественном мышлении, или же были закономерным, хотя и исторически ограниченным (а потому и искаженным) идейным явлением, в котором отражались глубинные процессы общественной жизни и ее экономической основы.

Но, может быть, то, что писали Маркс, Энгельс, Ленин о великих утопистах Запада, неприменимо к русским утопистам второй половины XIX и первых десятилетий XX века? Ведь эти утописты действовали в такое время, когда все большее распространение получала теория научного коммунизма.

Послушаем, что говорил об этом Ленин.

Прежде всего он подчеркивал значение критической стороны утопических теорий. На определенном историческом этапе эта сторона являлась важным фактором освободительной борьбы. Ленин отмечал ее даже в толстовстве, то есть в наиболее отсталом и реакционном утопическом учении. Так, Ленин писал, что в восьмидесятые годы («Четверть века тому назад») эти элементы «могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям населения *вопреки* реакционным и утопическим чертам толстовства»^[7].

В народнических утопиях критическая струя выступала сильнее и непосредственней — не в религиозном, как у Толстого, облачении, а в социальном. Вопросу о значении народнической утопии Ленин посвятил особую статью — «Две утопии» (1912). В ней сопоставлялась утопия российских либералов XX века, стремившихся без классовой борьбы, путем сговора с самодержавием добиться политических преобразований в России, с народнической утопией того же периода — мечтой о социалистических преобразованиях с помощью справедливого раздела земель. И та и другая были нереальны: нельзя столкнуться с самодержавием о политических свободах, установление которых равносильно для него самоубийству; «справедливый» раздел земель явился бы не социалистической, а максимально последовательной буржуазно-демократической мерой. Но и та и другая утопии не были беспочвенны: они отражали насущные интересы определенных классов — буржуазии, которая хотела уговорить самодержавие, но всегда оказывалась сама им обманутой, и крестьянства, страдавшего от полукрепостнических порядков в деревне.

Используя положение Энгельса о ложном в формально-экономическом смысле, но истинном во всемирно-историческом, Ленин так характеризовал народническую утопию: «Будучи утопией насчет того, каковы должны быть (и будут) экономические последствия нового раздела земель, она (народническая утопия. — Э. В.) является спутником и симптомом великого, массового демократического подъема крестьянских масс...»^{8} В этом и состояло ее историческое значение. Эта утопия не была бесплодной. И если, характеризуя либеральную утопию, Ленин отмечал, что она «... вредна не только тем, что она — утопия, но и тем, что она *развращает* демократическое сознание масс. Массы, верящие в эту утопию, никогда не добьются свободы; такие массы недостойны свободы...»^{9}, то совсем иную роль он отводил народнической утопии в общественной борьбе масс. Она «выражает их стремления бороться, обещая им за победу миллион благ (то есть социализм. — Э. В.), тогда как на самом деле эта победа даст лишь сто благ (то есть наиболее демократический путь капиталистического развития. — Э. В.). Но разве не естественно, — заключал Ленин, — что идущие на борьбу миллионы, веками жившие в неслыханной темноте, нужде, нищете, грязи, оброшенности, забитости, преувеличивают вдесятеро плоды возможной победы?»^{10} Нет, Ленин не считал бесплодной народническую утопию даже того времени, когда она существовала рядом с наукой, с марксизмом. Он вскрывал ее исторический смысл, ее

общественное значение.

Утопия Каракозова и его единомышленников принадлежала другой, допролетарской эпохе. Но в ее основе лежала та же самая мысль: минуя капиталистическое развитие, сразу войти в царство социализма с помощью крестьянской поземельной общины, уничтожить одним ударом политический гнет самодержавия и все виды экономической эксплуатации. Это был утопический социализм, основанный на выводе о несправедливости экономического неравенства и эксплуатации. Это был крестьянский социализм, потому что движущей силой общественного преобразования считалось крестьянство и еще потому, что мероприятия, считавшиеся социалистическими, в действительности могли освободить крестьянина только от полуфеодальной, но не от капиталистической эксплуатации. Избавление человечества от гнета частной собственности и экономического угнетения было заложено как раз в капиталистическом способе производства: капитализм дает огромный толчок развитию производительных сил, подготавливая для социализма необходимый экономический уровень, и создает себе могильщика, то есть тот класс, который и является основной движущей силой социалистического преобразования. Однако для того чтобы это стало ясно, требовался не только гениальный ум Маркса, но и определенный уровень капиталистического развития, позволявший увидеть противоречия этого строя. России до такого уровня было еще далеко.

Прошло всего пять лет с тех пор, как пало крепостное право. Реформа была вынужденной мерой царизма. Сам Александр II во всеуслышание объявил, что лучше освободить крестьян сверху, чем ждать, когда они сами освободят себя снизу. В нараставшем недовольстве крепостных отражался тот факт, что, говоря словами Энгельса, крепостничество пережило себя, стало невыносимым и несохранимым, служило помехой общественному и прежде всего экономическому развитию страны, вступившей уже на капиталистический путь. Это недовольство охватило не только крестьян, но и сравнительно широкие слои образованного общества, сочувствовавшего крестьянам и страдавшего к тому же от политического гнета самодержавия.

Однако крестьянская реформа не могла радикально решить насущные вопросы, не задевая интересов господствующего класса помещиков. Поэтому она и была половинчатой, сохранявшей множество крепостнических пережитков, тормозивших буржуазную эволюцию России. Крестьянин получил личную свободу, но эта свобода была опутана таким клубком всевозможных ограничений, что, по существу, больше приближала его к крепостному состоянию, чем к положению свободного

гражданина. Крестьянин получил землю. Но за нее он должен был уплатить помещику втридорога против ее рыночной стоимости и до выкупа, пока земля продолжала считаться помещичьей собственностью, вносить оброк или отрабатывать барщину. Земля, которой пользовались крестьяне до реформы, была урезана.

Между тем с нее теперь надо было не только кормиться, но и получать доход, чтобы платить оброчные, выкупные и другие платежи. Помещики оставили себе лучшие земли, переселив крестьян «на песочки», болотистые и неплодородные почвы. Крестьянам не оставлялось ни леса, ни выпасных лугов, и им приходилось на кабальных условиях, за отработки арендовать у помещика свои же бывшие земли.

Естественно, что реформа вызвала вспышку крестьянского недовольства, оно проявлялось в местных разрозненных волнениях, усмирявшихся военной силой и часто заканчивавшихся жестокой расправой. В связи с этим достиг и своей кульминации демократический подъем в образованном обществе (как называли тогда интеллигенцию), требовавшем элементарных человеческих свобод.

С давних времен крестьяне владели землей общинно, переделывая ее по душам и тяглам через те или иные промежутки времени. Этот порядок сохранился и после реформы. И русские утописты, начиная от А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, видели в общинном владении наиболее благоприятные условия для социалистического развития страны, позволяющие ей якобы миновать капиталистическую стадию. На этой почве и расцвели идеи русского или крестьянского утопического социализма. В сочетании с верой в близкую крестьянскую революцию эти идеи были самыми передовыми в общественной мысли России шестидесятых и семидесятых годов.

В эпоху падения крепостного права; общественный накал в стране был настолько силен, что казалось, вот-вот он разрешится революцией, которая покончит и с самодержавием и с социально-экономическим угнетением. По всеобщему убеждению, крестьянская революция должна была вспыхнуть не позже 1863 года, когда истек срок для подписания крестьянами и помещиками условий освобождения (уставных грамот). Образованное меньшинство готовилось, к революции. Стихийно возникали полулегальные кружки и тайные общества. Наиболее крупной была организация, назвавшаяся «Землей и волей». Выпускались прокламации, во всю мощь звонил из Лондона бесцензурный герценовский «Колокол», на страницах подцензурного «Современника» Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский пропагандировали революционные идеи в завуалированной

форме. Стало создаваться революционное подполье, жившее своей особой жизнью. К этому прибавилось национально-освободительное движение в Польше, находившейся под пятой русского царизма. В начале 1863 года оно вылилось в восстание, поддерживавшееся русскими-революционерами.

Однако крестьянской революции не произошло. Царское правительство сумело справиться и с польскими повстанцами: и отразить натиск революционных, еще очень слабых сил. Реакционная печать, изображавшая польское восстание как: антирусскую акцию, разжигала шовинистический угар. Колеблющиеся и еще недавно склонявшиеся к революции элементы отошли в сторону. Аресты и преследования революционеров-обескровили не успевшее окрепнуть подполье. К концу 1863 года спад демократического движения стал совершенно явным.

Но все же небольшие и разрозненные группы революционно настроенной молодежи продолжали тайную борьбу с царизмом, искали новые методы этой борьбы, пытаясь учесть опыт своих предшественников.

Общие контуры революционной программы, рассчитанной на этот период временного затишья, были начертаны Чернышевским в его романе «Что делать?», написанном в Петропавловской крепости. Программа эта сочетала легальные методы с подпольными, организацию производительных ассоциаций и народных школ для пропаганды социализма и просвещения масс, с одной стороны, и подготовку к грядущей революции путем создания тайных организаций — с другой.

По этому пути и шел кружок, в котором состоял Каракозов, кружок, известный под названием Ишутинского, по имени его организатора Н. А. Ишутина. Он был основан в Москве осенью 1863 года, а позже установил связи с остатками петербургского революционного подполья, где выдающаяся роль в то время принадлежала Ивану Александровичу Худякову.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ФАКТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Задумать бороться с правительством, низвергнуть его, создать новый порядок вещей — это, без сомнения, такая трудная задача, которая даже таким избранным, высоким и сильным личностям, как Гарибальди, удастся, только после целого ряда неудач и попыток.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии.

Иван Александрович Худяков не был ни публицистом, ни идеологом освободительного движения, подобно А. И. Герцену или Н. Г. Чернышевскому, П. Л. Лаврову или М. А. Бакунину, П. Н. Ткачеву или Н. К. Михайловскому. Он не разрабатывал теоретических проблем и не внес новых идей в общественную мысль. Худяков опирался на идейное наследство своих непосредственных предшественников и современников, создавших доктрину русского или крестьянского социализма. Руководящие идеи этой доктрины и нашли свое отражение в его книжках для народа, а главным образом в прямой революционной деятельности. Он был революционером-практиком, деятелем движения, а не идеологом.

Конечно, практическую революционную деятельность не оторвать от теории: они взаимодействуют между собой. И не только теория предопределяет практику, но практика также, в свою очередь, вносит известные коррективы в теорию. И в этой последней области Худякову, несомненно, принадлежит новое слово.

После спада революционной ситуации 1859–1861 годов и наступления правительственной и общественной реакции для ослабленного революционного движения приобрел первостепенное значение поиск новых средств борьбы с самодержавием, переоценка недавней тактики.

Рассеялись некоторые иллюзии, рожденные эпохой падения крепостного права и общего демократического подъема, а в частности, представление о слабости самодержавия. Исчезла уверенность, что перед требованиями образованных классов «опустятся штыки, побледнеют

придворные и смирится беспомощный царь», как говорилось в одной из радикальнейших прокламаций 1861 года — «Великоруссе»^{11}. Царизм вышел из кризиса и продемонстрировал свою полицейскую силу. Многие оказалось гораздо сложнее, чем считалось в те годы.

Возникли серьезные сомнения и относительно другой недавней иллюзии — о готовности крестьянства к революционной борьбе за землю и волю. Крестьянство не проявляло признаков возбуждения, хотя его недовольство реформой ни для кого секретом не было. Если это следствие темноты и забитости, то надо просветить народные массы, раскрыть им глаза на их силу и роль в общественном преобразовании, сказать правду о том, кто их главный враг, показать выгоды социализма. Все это казалось не столь уж трудным даже такому реальному и трезвому политику, каким был Чернышевский. Ведь даже он писал: «Говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ, — любит не на словах, а в душе»^{12}. И пропагандистски просветительская деятельность стала одной из главных задач освободительного движения. А наряду с ней стояла и другая задача — подготовить крепкую политическую организацию революционных борцов из молодого поколения, способных низвергнуть самодержавие.

Худяков действовал в обоих направлениях. Он писал книги для народа, которые должны были заменить собой школу первоначальных знаний об обществе и природе, лично занимался с людьми из «простонародья». И в тоже время сколачивал тайную политическую организацию, считая эту деятельность наиболее трудной и ответственной.

«Задача политического деятеля, — писал он, — несравненно труднее задачи любого ученого гения: он должен иметь дело с самыми разнородными представителями общества; ему мало обладать замечательным чутьем в выборе людей; из обыкновенного человека он должен образовать политического деятеля; он должен иметь в виду бесчисленные комбинации, которые могут произойти от его действий, от действий его друзей, от многочисленных случайностей слепой судьбы; ему мало воодушевить своих друзей, мало подстрекать их к деятельности; на случай неожиданности он должен дать им часть своего гения, а это вещь не всегда возможная...»^{13}

Все эти трудности Худяков испытал на себе, на своем собственном революционном опыте. И естественно, что в истории его жизни конспиративным делам и связям должно принадлежать главное место.

Однако как раз эта сторона биографии Худякова очень скупо отражена в документах. Здесь мы сталкиваемся с извечной проблемой — соотношения факта и документа.

На самом деле, казалось бы, что мы располагаем огромным количеством документальных источников. Ведь одни только следственные дела, связанные с покушением Каракозова, насчитывают сотни томов и десятки тысяч листов. А в деле Каракозова Худяков — одна из главных фигур. Но, увы, документы не всегда соответствуют фактам. Как раз следственные материалы — этот самый обширный источник, в котором содержатся многочисленные показания самого Худякова и показания его сопроцессников, — могут дать совершенно искаженную картину, если принять на веру все, что в них говорится.

Очень немногие из обвиняемых попали в ту сеть хитросплетений и насилия, подлинных улик и беззастенчивых провокаций, подкупа и угроз, которую расставлял на протяжении четырех месяцев председатель следственной комиссии граф М. Н. Муравьев, получивший достойную кличку Вешателя за кровавую расправу с польскими повстанцами. «Чистосердечных показаний совершенно не было, — писал Худяков. А уж ему ли было не знать всей правды! — Я в свою жизнь не видывал такой громадной массы писаной лжи всех сортов, какой было дело 4 апреля 1866 года»^{14}.

Не говоря уже о том, что обвиняемые старались скрыть как можно больше фактов своей деятельности с целью самозащиты, не все они действительно были осведомлены обо всех конспирациях и замыслах тайной организации. «Самую суть знают только избранные, — сообщал в доверительной беседе Худяков, — но от этих никогда им (следователям. — Э. В.) ничего не узнать; а все прочие, которые при следствии делали показания, знали только некоторые подробности, а потому под страхом пытки и смертной казни немилосердно ввали и тем еще больше спутали правительство»^{15}.

Худяков принадлежал к числу тех «избранных», которые знали «самую суть», но не раскрыли ее ни следствию, ни суду. Его показания — это продолжение борьбы с самодержавием, борьбы оборонительной — не на жизнь, а на смерть.

«Положение всякого, попавшегося в руки III отделения, сходно с положением сказочных героев, — писал Худяков. — Богатырь идет к своей цели длинными, неизвестными путями, а нечистая сила со-всех сторон старается испугать его страшными образами; она принимает виды

огненного озера, ужасающих чудовищ, всевозможных гадов и голосов;; то прикидывается она плачущей красавицей, то зарезанным ребенком. Если только герой обернется лицом, нечистая сила с торжеством разрывает его на мелкие части; если же он, несмотря на ужас, идет себе без оглядки, он, наконец, благополучно достигнет своей цели, а нечистая сила, видя его победу, с диким: воплем кинется от него в сторону...

В таком же положении находился и я; к сожалению, я не был богатырем...»^{16} Не отличавшийся крепким здоровьем, изнуренный огромным умственным и душевным напряжением, чрезвычайно нервный и впечатлительный, Худяков тем не менее проявил на допросах необыкновенную стойкость, которая не одного его спасла от виселицы. Но из этого следует, что меньше всего можно доверять его показаниям.

Ненадежность источника не означает, однако, что его вовсе надо сбросить со счетов. Не говоря уже об установленных следствием неопровержимых фактах, в следственных материалах попадает много такого, что по разным причинам прошло незамеченным в то время, чему следственная комиссия и суд не придали значения, что меркло в их глазах сравнительно с главным «преступлением» — покушением Каракозова.

Перед историком встает нелегкая задача отделить правду от вымысла. Он как бы контролирует весь ход следствия. Его радует каждая ошибка, каждый промах следователей, каждый умелый ответ обвиняемых. Но чем больше таких ошибок и тонких ответов, тем меньше фактов у исследователя, тем больше «белых пятен» в истории. И с этим приходится мириться.

Можно, разумеется, строить догадки, но нельзя выдавать их за факты. Догадки должны оставаться догадками, а факты — фактами. И если их нельзя обойти, то нельзя и домысливать. Уж лучше прямо сказать: «Не знаю», чем давать волю полету собственной фантазии.

Из следственных материалов по делу Каракозова факты, поддающиеся проверке, приходится собирать по крупицам, сопоставлять их со свидетельствами современников и некоторыми другими документами. Увы, такого рода материалов сохранилось чрезвычайно мало.

О Худякове знавшими его людьми написано очень немного. Сразу же после его смерти, в 1876 году, в бесцензурной газете П. Л. Лаврова «Вперед!», издававшейся за рубежом, были напечатаны две статьи о Худякове. Одна принадлежала перу видного революционера-народника Г. А. Лопатина, другая — участнику Иштутинской организации — В. Н. Черкезову, впоследствии известному анархисту. Лопатин знал Худякова в последние месяцы перед его арестом, и то, что он сообщает о нем как

очевидец, вполне заслуживает доверия. Однако вопиющими ошибками страдают сведения Лопатина о предыдущем жизненном пути ученого-революционера.

Черкезов жил в Москве, где и виделся с Худяковым во время его наездов. Он был посредником в переписке Худякова с московскими ишутинцами. Но к числу «избранных», знавших «всю суть», он, в то время девятнадцатилетний юноша, не принадлежал. Ему известны были только «некоторые подробности».

Якутские власти подсылали к Худякову, когда он прибыл на поселение, агента-осведомителя, чиновника А. Трофимова, который, чтобы вызвать Худякова на откровенный разговор, представился ссыльным поляком Трохимовичем. В архиве III отделения сохранились донесения этого агента о доверительных беседах Худякова с ним. Эти донесения были опубликованы В. Г. Базановым и сопровождаются обстоятельной его статьей в журнале «Русская литература». Автор отметил, что все поддающееся проверке в донесениях показывает их достоверность: они построены не на домыслах. К тому же шпион был достаточно осторожен в своих выводах и подозрениях и отделял их от рассказов самого Худякова. Донесения Трофимова содержат немаловажные подробности о революционной деятельности Худякова, проливают на нее дополнительно свет.

Но всего этого было бы совершенно недостаточно для жизнеописания Худякова, если бы не сохранился его собственный рассказ о самом себе, его «Опыт автобиографии». Но до чего же скуп и этот рассказ, писавшийся в первый год ссыльной жизни в Верхоянске! В самых общих чертах в нем описаны детство и студенческие годы, отчасти литературные и научные занятия, женитьба, допросы в комиссии и на суде и обстановка предварительного и судебного следствий. О своей революционной деятельности Худяков говорит глухо. В условиях неусыпного наблюдения за ссыльным и под угрозой внезапных обысков он не мог доверять даже бумаге ни своих конспиративных дел, ни своих затаенных мыслей. И все-таки по отдельным намекам, по недописанным или эзоповским фразам можно кое о чем догадаться, а кое-что проверить и по другим материалам.

Несколько слов о самих воспоминаниях. Они отличаются исключительной искренностью и откровенностью в рассказах автора о самом себе, пока эти рассказы не касаются революционных дел.

В них нет ни малейшей рисовки, ни любования собой, ни стремления предстать перед читателем в лучшем, чем есть на самом деле, виде. Худяков не скрывает своих ошибок и просчетов, порою дает им самую резкую оценку и не ищет оправдания. Компромисс с собственной совестью,

этот удел слабых душ, был ему несвойствен и незнаком.

Нет в его рассказах и самооценках и другой крайности — самобичевания и самоуничужения, — того, что так блестяще было изображено Достоевским и что принято называть «достоевщиной».

Худяков — человек огромной душевной силы, необычайной страстности и целеустремленности. Служит ли он науке или революции, он отдается целиком и безраздельно предмету своей страсти. Все остальное подчинено этой страсти и существует для него как досадная необходимость человеческого организма есть, пить, прикрываться одеждой от холода, иметь крышу над головой. И он сводит эту необходимость до крайнего минимума. Даже самая искренняя и захватившая его любовь к женщине измеряется им степенью пользы или вреда для главного, чему он служит.

Такой человеческий облик встает со страниц его воспоминаний, хотя сам мемуарист не прилагал ни малейшего усилия, чтобы подчеркнуть эту необычайную целеустремленность.

Эта внутренняя сила и крайняя душевная напряженность не отражались во внешнем облике Худякова, который мы знаем только по описаниям. Его портрет неизвестен. Возможно, что фотографии Худякова затерялись где-то в архивохранилищах и покоятся как снимки с «неизвестного лица»; возможно, что они лежат в альбомах у потомков его многочисленных родственников. А может быть, и погибли за сто лет.

Участник польского революционного подполья Г. Вашкевич так описывал внешность Худякова: «Он имел около 24 лет, был небольшого роста, носил длинные темно-русые волосы, постоянно в беспорядке, борода небольшая»^[17].

Более подробное описание мы находим у Г. А. Лопатина. «Это был худощавый, болезненный, крайне нервный человек, невысокого роста, с жидким голосом и с жидким же блеском в маленьких беспокойных глазках. Его съезженная фигурка постоянно что-то высматривала, к чему-то прислушивалась, зачем-то озиралась по сторонам, на что-то оглядывалась. Внимательный наблюдатель не мог не видеть в нем природы подвижной, деятельной и фанатической. Это не был фанатик сурового и важного типа: то величественно молчащий в сознании того, что не стоит мараить даже уст своих разговором с окружающими, то злобно и гневно громящий против них. Это был фанатик юркий, хихикающий, разговорчивый и «покладистый». Однако под этой кажущейся «покладистостью» опытный наблюдатель усматривал настоящего аскета и фанатика, упрямо

преследующего одну завладевшую им идею»^{18}. Под фанатизмом Лопатин понимал не изуверство и нетерпимость, а именно беспредельную преданность идее.

Сам Худяков так описывал себя: «Трудно было найти человека более невзрачного, как я». «По голосу и по лицу многие... принимали меня за скопца»^{19}.

Наконец, мы имеем и еще одно описание, принадлежащее Н. С. Горохову, полуякуту-полурусскому, общавшемуся с сосланным Худяковым в Верхоянске. «Он был страшно худ, — рассказывал Горохов ссыльному врачу Я. Белому, — в лице, что называется, ни кровинки, но глаза светились каким-то загадочным блеском, все движения его были нервны, он часто вскакивал с места, но в убогой юрте негде было разойтись, и он снова усаживался на нары». По словам Горохова, Худяков был приветлив и словоохотлив с близкими ему людьми^{20}.

Об общительности Худякова рассказывает и шпион Трофимов. Записывая свои первые впечатления, он отмечает: «Худяков довольно порядочно образован. Говорлив и общителен. Любит рассуждать о политике и литературе. Начитан. Положение свое переносит равнодушно»^{21}.

В этих описаниях дана не только внешность Худякова, но и черты его характера, полностью совпадающие с тем впечатлением, какое остается при чтении его воспоминаний. Присоединим к этим отзывам еще один — отзыв публициста-народника Г. З. Елисеева, близко знавшего Худякова в петербургский период его жизни. «По нравственному своему характеру это был человек не только вполне безупречный, но некоторым образом подвижник»^{22}.

Чисто индивидуальные черты Худякова были отмечены общей печатью эпохи, тем, что так тонко уловил Тургенев, рисуя Базарова, а Чернышевский — Рахметова.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«РОЖДЕННЫЕ В ГОДА ГЛУХИЕ»

Худяков — типичный представитель разночинной интеллигенции, которая заняла доминирующее положение в общественной жизни России вообще и в революционном движении в частности.

Его предки были в XVI веке купцами в Великом Устюге, затем переселились в Тобольск и вели довольно значительную торговлю. Прадед Худякова принадлежал к числу богатейших купцов Тобольска. Он умер, когда его сыну, деду Худякова, было всего два года, и опекуны постарались освободить его от наследства. Ему пришлось стать ремесленником — добывать средства к жизни вставкой оконных стекол.

Отец Худякова, Александр Гаврилович, сумел все же получить среднее образование; о высшем помышлять не приходилось — нужно было помогать семье. И он стал учителем сначала приходского, а затем уездных училищ в разных городах Тобольской губернии.

Живя в Кургане, Александр Гаврилович в конце 1830-х или в начале 1840-х годов женился на своей ученице из бедной семьи — Татьяне Александровне Андрюковой. А 1 января 1842 года у них родился сын Иван. Он был единственным ребенком у своих родителей. Мальчику не было еще и года, когда семья переехала в другой сибирский город — Ишим, где отец получил должность смотрителя училищ.

В Кургане, еще до рождения сына, отец его познакомился с ссыльными декабристами — П. Н. Свистуновым и М. М. Нарышкиным, — и их влияние не прошло для него бесследно. У них обучился он французскому языку и перевел книгу М. Ж. Дежердано «Нормальный курс для первоначальных наставников и руководство к физическому, умственному и нравственному воспитанию в первоначальных школах», изданную на казенный счет в 1838 году. Расширились и его умственные запросы.

По словам И. А. Худякова, влияние декабристов на его отца сказалось и в том воспитании, которое он дал сыну. В доме царила атмосфера честности и неподкупности, не свойственная русскому чиновничьему миру. Отец к тому же был религиозен и в помощи ближнему видел свой главный долг христианина. На весьма скромные средства он Содержал многочисленных родственников. Религиозность была привита и сыну. «В то время я находился в самом религиозном настроении, — подшучивал позже

над собой Худяков, — строго соблюдал праздники, постные дни и посты. По примеру отца я старался быть «оком слепых, ногою хромых, как орел воспарял в небо добродетели»^{23}. Религиозность, или, как позже говорил Худяков, ханжество, со временем совершенно исчезла, но внимание к людям, сочувствие к их горестям, стремление помочь всем и каждому, лишая себя необходимого, — все, что привито было с детства, осталось на всю жизнь.

Отец уделял немалое внимание воспитанию сына, старался развить его физически и умственно. Однако, кроме моральных устоев, он мало что мог дать ребенку. Его духовный и образовательный уровень был невысок. Большую часть времени мальчик проводил в обществе домашней прислуги.

Грамоте Худяков обучился сам, «незаметно», как он говорил, благодаря тому, что жил под одной крышей с училищем. И сразу увлекся книгой. Но выбор был более чем ограниченный. «Первоначальным моим чтением, — писал он, — были книги самого напыщенного лжепатриотического содержания»^{24}. Они, впрочем, не оказали влияния на формирование его духовного облика.

Получив первоначальное образование в Ишимском уездном училище, где он шел первым учеником, Худяков в 1853 году переехал в Тобольск для поступления в гимназию. Вскоре туда же был переведен по службе и его отец, получивший повышение.

Жизнь в одном из крупнейших в то время сибирских центров не оказала сколько-нибудь заметного влияния на духовное развитие юноши. «Умственный и нравственный уровень гимназии был очень низок», — рассказывал Худяков^{25}. Педагоги более чем слабо знали свои предметы. Преподаватель математики сам не понимал, почему выходят некоторые формулы; по истории и географии изучались одни имена и названия; латинист с трудом переводил самых легких писателей классической древности; учитель немецкого языка не смог за семь лет обучить гимназистов склонениям, преподаватель французского и вовсе приходил в классы пьяный и часто заменял уроки хоровым пением русских песен. Правда, инспектором гимназии являлся известный автор «Конька Горбунка» П. П. Ершов. Он свел к минимуму розги и телесные наказания, широко применявшиеся в средних учебных заведениях России николаевских времен.

Худяков в гимназии шел первым учеником. Это было не из тщеславия. Он считал «своей религиозной обязанностью готовить все уроки по возможности хорошо и потому работал с необыкновенным

трудолюбием»^{26}. Работать приходилось не менее десяти часов в сутки из-за бестолковости преподавания. К тому же он систематически делал переводы за своих товарищей, составил для них учебник алгебры, поправлял французские переводы учеников младших классов.

Читать удавалось только во время летних каникул. Но и это чтение носило случайный характер. К тому же из всей русской литературы в его руки попало всего лишь несколько книг — «Рославлев» Загоскина, Марлинский и отдельные тома Пушкина. «Без сомнения, — писал Худяков, — убийству моих умственных и физических сил всего более содействовала гимназия»^{27}. В той огромной затрате энергии и времени, которые он отдал обучению в гимназии, Худяков видел только вред. «Рыбачь я эти годы, подобно Ломоносову, или ездил в степь, подобно Кольцову, без сомнения, я сохранил бы к зрелому возрасту в тысячу раз большие силы ума и тела»^{28}.

Однако уже в эти школьные годы сформировалась основная черта характера Худякова — он ничего не умел делать вполдела. И чем бы он ни занимался в дальнейшем — учебой, наукой или революцией, — это дело захватывало его целиком, заслоняя все остальное.

За те пять лет, которые провел Худяков в тобольской гимназии, в России произошли важные изменения. Началась и бесславно кончилась Крымская война, умер Николай I, на престол взошел Александр II, несколько ослаб, доведенный до предела полицейский режим, в стране началась подготовка крестьянской реформы.

В 1858 году, закончив гимназию, Худяков отправился в Казань, чтобы поступить в университет. Здесь шестнадцатилетний пытливый юноша увидел другой мир.

Сдать приемные экзамены, требования на которых были столь же формальны, как и в гимназии, Худякову не стоило большого труда. Он поступил на историко-филологический факультет. Первоначально университетские занятия были для него простым продолжением школьных: он «посещал одинаково усердно все лекции, наскоро записывал их, а дома дополнял и переписывал»^{29}. Но этот детский способ приобщения к науке вскоре перестал удовлетворять его. К тому же он убедился, что «история мертва, если ею занимаются чиновники или буквоеды», что «все науки словесного факультета читались плохо»^{30}.

Более живо проходили лекции по истории славянских древностей, а главное, профессора В. И. Григорович и В. Г. Варенцов старались пробудить в слушателях интерес к науке, к самостоятельной работе над

источниками. Естественно, что здесь и мог найти Худяков пищу для своих умственных запросов. И он со свойственным ему пылом целиком погрузился в изучение народных мифов и сказок, теоретических проблем фольклористики и начал собирать народные предания, пословицы, загадки, сказки. Он был так увлечен своей работой, что все остальное мало его волновало. Казалось, что жизненная цель определилась настолько твердо, что никакая сила не способна свести его с избранного пути.

Между тем в среду студенческой молодежи все сильнее проникали те новые веяния, которыми были ознаменованы годы наступавшего демократического подъема в стране. В Казанском университете, где было больше выходцев из разночинских кругов, эти веяния сказались раньше, чем в столичных учебных заведениях. Здесь возникли кассы для помощи нуждающимся студентам, библиотека, составленная на общие средства учащихся, читальная комната, где не только занимались, но знакомились с текущими событиями. Выписывались журналы и газеты, студенты «заводили между собою споры, обменивались сведениями и мыслями... Здесь же собирались сходки по делам, касающимся библиотеки и кассы». Читальная комната, писал Худяков, «была самым счастливым шагом для общего развития»^{31}.

Новые веяния не могли пройти мимо Худякова. «Еще до начала лекций, — сообщал он, — я попал под влияние, увлекавшее в то время всех казанских студентов. А именно в это время атеистические и республиканские идеи начали очень сильно распространяться между студентами... Брошюры Герцена и вообще запрещенные статьи переписывались неутомимо, ходили по рукам всех товарищей и зачитывались до дыр, так что более бережливые отдавали свои тетрадки на сохранение мне, потому что я жил довольно уединенно. Таким образом, и я очень скоро сделался атеистом, а в политическом отношении приверженцем конституции»^{32}.

Однако это приобщение к новым идеям, ранее неведомым Худякову, имело чисто теоретический характер. Оно явилось, разумеется, немаловажным поворотным пунктом в пробуждении мысли, породив дух здорового критицизма, позволивший ему увидеть убожество официальной университетской науки и побудивший к самостоятельному поиску истины. Но сама-то область истины была для него тогда ограничена научными интересами, обращенными в прошлое. «По мере того как все мысли мои сосредоточивались на одном предмете, — признавался Худяков, имея в виду изучение русского фольклора, — внимание ослабевало к другим»^{33}.

Свой уединенный образ жизни и уклонение от участия в частых студенческих сходках он сам объяснял недостатком социального развития. И не к казанским, а к петербургским годам, то есть не ранее конца 1862 — начала 1863 года, — относил свой «выход на прямую дорогу», на путь революционной борьбы.

В Казанском университете в тот год, когда поступил Худяков, уже начались студенческие «истории». Бывали случаи исключения студентов по ложным доносам университетской «полиции» — инспекторов и надзирателей. Они порождали чувство солидарности у студентов, приводили к открытым протестам, причем, как правило, начальство вынуждено было идти на уступки. По словам Худякова, он принял участие только в так называемой «ведровской истории», но и то не на стороне большинства. Конфликт начался с того, что профессору всеобщей истории В. М. Ведрову стали известны написанные о нем сатирические стихи. Ведров заявил, что подаст в отставку, если в стихах выражено мнение большинства и если студенты не пришлют к нему депутацию с просьбой продолжать лекции. Худяков был одним из немногих, кто считал необходимым удовлетворить требование Ведрова. Хотя он был о нем невысокого мнения, однако расценил его поступок как благородный и к тому же опасался, что с уходом профессора кафедра всеобщей истории будет пустовать два года. Вообще, как писал Худяков, товарищи по курсу смотрели на него подозрительно, принимая за «подлипалу» к профессорам и даже при случае старались ему вредить.

К концу учебного года, когда круг источников и имевшейся в Казани литературы по народной словесности был им исчерпан, Худяков решил перевестись в Московский университет, где были более широкие возможности самостоятельных занятий наукой.

Здесь он убедился, что в Московском университете преподавание наук было поставлено не многим лучше, чем в Казанском. В университете господствовал реакционный полицейский дух. «Почти все профессора излагали свой предмет с самой консервативной точки зрения», университетская администрация «старалась о распространении шпионства», «умственное движение не действовало на студентов со стороны так успешно, как это было в Казани; студенты не имели еще ни своей кассы, ни своей читальни и не отличались гражданской развитостью». Правда, по собственному признанию Худякова, такое положение вещей не особенно волновало его в то время: оно не мешало его главной цели — «собственными силами познакомиться с наукой»^{34}.

Не тревожили Худякова и те лишения, на которые он шел, чтобы

служить науке. Отказывая себе в элементарных жизненных потребностях — в пище и одежде, он тратил все свои средства на книги. А средства эти были более чем скромными. Отец содержал бедных родственников, и Худяков не хотел быть лишней обузой. Чтобы обеспечить свое существование и одновременно делать то дело, которому он решил себя посвятить, он составил «Сборник великорусских народных исторических песен» для юношества и продал рукопись издателю Свешникову за 40 рублей. Это была первая книга, выпущенная Худяковым. Ему в то время не было еще полных девятнадцати лет. И тут же созрел новый литературный замысел — издать сборники великорусских сказок.

Окончив второй курс, Худяков отправился летом 1860 года в деревню — «на урок» в богатую Помещичью семью. Все свободное от занятий время он отдавал сбору народных сказок, преданий, загадок. 17 сентября того же года в Московский цензурный комитет поступила рукопись первого выпуска «Великорусских сказок»^[1], преимущественно собранных по деревням самим Худяковым, а в конце октября книжка уже вышла в свет.

Это издание дало ему 150 рублей — «деньги очень большие для такого умеренного человека, каким я был в то время», — пишет Худяков. Но в тот же день, когда они были получены, он потратил 130 рублей на книги. «Меня снова захватила такая бедность, что по несколько дней случалось совершенно ничего не есть. А тут, как нарочно, рядом с моей комнатой помещалась колбасная мастерская, которая так и поддразнивала аппетит»^[35]. С наступлением зимы бедствия усилились: не было теплой одежды.

Но, одержимый одной мыслью, он, невзирая ни на что, снова отправляется в деревню на зимние каникулы^[2], а в феврале 1861 года выпускает, изданный уже на собственный счет, второй выпуск «Великорусских сказок». Издание едва окупилось, не принеся почти никакого дохода. Осенью того же года вышли его «Великорусские загадки».

Между тем и в Московском университете началось то пробуждение, которое было заметно в Казани. В 1859 году выходцы из приволжских губерний организовали в Москве Библиотеку казанских студентов. Впоследствии она стала легальным прикрытием тайного общества «Земля и воля». Здесь также хранились и распространялись «Колокол» Герцена и другие нелегальные издания. Началось тайное книгопечатание, распространение запрещенных сочинений.

Худяков стоял в стороне от этой деятельности, всецело занятый наукой. Тем не менее борьба студенчества, сначала отстаивавшего свои

корпоративные права и человеческое достоинство, а затем все более и более принимавшая политическую окраску, не могла оставаться чуждой для него.

Еще в первый год пребывания в Московском университете ему довелось на себе испытать силу административного произвола. Он участвовал в так называемой «леонтьевской истории» — протесте студентов против грубости реакционного профессора П. М. Леонтьева, сподвижника знаменитого М. Н. Каткова. Недовольные его отношением к лекциям и тем оскорбительным тоном, который позволял себе Леонтьев в обращении с ними, студенты потребовали от профессора публичного извинения. Отказ Леонтьева еще более взбудоражил молодежь. Составили петицию, адресованную университетским властям, весьма скромного и умеренного содержания: студенты просили напомнить Леонтьеву о правилах элементарной вежливости. Зачитанная на сходке, она была одобрена почти единогласно. Однако когда дело дошло до подписей, то большинство студентов уклонилось под разными предлогами. И только шесть человек — между ними и Худяков — подписали свои имена.

И хотя все делалось в строгих рамках университетского устава, да и сама-то просьба не содержала в себе ничего «крамольного», ее отказались принять и декан исторического факультета и ректор. Последний, впрочем, пообещал сделать замечание Леонтьеву «на словах». Вопрос казался исчерпанным.

И вдруг вся «история» приняла неожиданный оборот: разнесся слух, что трое из подписавшихся под петицией, и в их числе Худяков, исключены из университета. «Мы бросились узнавать к секретарю совета, — рассказывает Худяков.

— Мы выключены?

— Выключены.

— Кто нас выключил и за что?

— Я не знаю, — отвечал секретарь, — вас выключил попечитель.

Мы к попечителю.

— Нас выключили?

— Выключили.

— За что же?

— Не знаю. Это вас выключил ректор — он хозяин в университете.

Мы к ректору.

— Нас выключили?

— Выключили, — отвечает ректор, обративши к нам вместе с физиономией все туловище; шея у него отличалась особенною

неповоротливостью.

— Кто же вас выключил и за что?

— Это вас выключил попечитель, а за то... — и тут ректор понюхал табаку, — за то, что вы не успели еще поступить в университет, а уже стали в нем распоряжаться...»^{36}

Эта вопиющая несправедливость (ведь «все действовали путем законным в таком законном деле, как вежливость»^{37}) оказала ошеломляющее впечатление на многих студентов. «Не произвели ни следствия, ни суда... Стало быть, действуя законно, не отыщешь справедливости: следовательно, надо добиваться ее помимо закона! Вот умозаключение, к которому пришли наиболее решительные студенты...»^{38}

Так писал позднее Худяков. Но в это время он сам такого вывода еще не сделал. Подписывая петицию, он просто действовал так, как ему подсказывала совесть человека, воспитанного в правилах элементарной честности. И эта же честность не позволила ему ни отказаться от подписи, ни приносить извинений.

«Леонтьевская история» на этом не закончилась. Студенты решили освистать профессора прямо на лекции. Однако у Леонтьева нашлись защитники, и аудитория была расколота. Началось расследование. Худяков в этой акции не участвовал. Его аттестовали хорошо и вскоре восстановили в университете.

Незначительным было участие Худякова в студенческих волнениях осени 1861 года, охвативших почти все русские университеты в связи с введением новых правил, запрещавших сходки, студенческую взаимопомощь и другие формы корпоративных объединений и установивших высокую плату за обучение. Худяков бывал на студенческих сходках во время этих волнений, по активной роли в них не играл. А на студенческую демонстрацию 12 октября, закончившуюся столкновением с полицией, побоищем и массовыми арестами, случайно опоздал, почему и не попал вовсе в поле зрения московской полиции. Его сочувствие студенческому движению было несомненным. Но оно еще не приобрело политического характера: это был внутренний протест против насилия над личностью. Главным и в это время для Худякова оставалась наука.

Уровень университетской науки стал для него пройденным этапом. Он тяготился лекциями и, занятый самостоятельным изучением народной словесности, не явился на переходные экзамены с третьего на четвертый курс. По университетским правилам он подлежал исключению. Но по

недосмотру канцелярии ему был выдан новый билет. Это все же не спасло Худякова от исключения, столь же случайного, как и получение билета.

Уехав па зимние каникулы 1861/62 года в деревню для сбора этнографических материалов, он оставил студенческий билет у одного из своих товарищей. А тот привял участие в демонстрации против профессора Б. Н. Чичерина и явился на нее с билетом Худякова. Все билеты у участников демонстрации были отобраны полицией, и тогда обнаружилось, что в факультетских списках Худякова нет, а значит он только в списках инспектора. После этого он был исключен окончательно.

Исключение не лишало Худякова права сдать экстерном кандидатские экзамены. Он вообще без труда отказался бы от диплома — для него это было чистой формальностью, его знания превышали университетские. По диплом был необходим как материальное основание для «более серьезной научной деятельности»^{39}. К тому же примешалось и новое обстоятельство. Живя в деревне у своего товарища Гололобова, он влюбился в его сестру, Елену Васильевну, рассчитывал сделать ей предложение, а для семейной жизни также требовалось материальное обеспечение.

«Нужно было слишком сильное чувство, — писал Худяков, — чтобы подвинуть меня на такую ненавистную вещь, как экзамены. Чувство, которое я к ним питал, равнялось отвращению к пытке»^{40}. Это не был страх перед «провалом» или волнениями, от которых у одних заплетается язык, у других исчезает память, у третьих — логическое мышление. Это был глубокий внутренний протест против чиновничьего формализма, против заказных казенных ответов, которые, когда Худяков учился в гимназии, нимало его не смущали. «Но с тех пор, — писал он, — как только я стал заниматься самостоятельно и получил уважение к себе, нравственное мое чувство возмущалось против такого насилия»^{41}.

По существовавшим правилам в Московском университете он, как исключенный из него, мог сдать кандидатский экзамен только через полтора года, к тому же с угрозой провала у Леонтьева, отличавшегося мстительностью. Петербургский университет был закрыт после студенческих волнений, и, хотя выпускные экзамены в нем принимались, Худяков об этом не знал. Оставался Казанский университет, куда он и обратился.

Здесь вначале все шло преблагополучнейшим образом. Он написал диссертацию, удачно сдал основные экзамены. Оставался экзамен по греческому языку. Он-то и оказался камнем преткновения. Худяков знал

греческий довольно слабо, но ничуть не хуже всех других. Невзлюбивший Худякова профессор Углянский поставил ему неудовлетворительный балл, почти не спрашивая. Худяков казался ему «петербургским революционером», и к тому же он считал оскорбительным для чести Казанского университета, чтоб студент третьего курса из Москвы сдавал здесь на кандидата. Изменить положение мог только экзамен на факультете. Но декан профессор Н. Н. Булич ответил на просьбу Худякова уклончиво, и, взбешенный, он забрал документы, несмотря на уговоры В. И. Григоровича, убеждавшего его, что факультет поставит необходимую оценку.

Рушились и другие надежды Худякова. Гололобова не ответила на его чувство, она любила другого. Надо было начинать новую жизнь, не рассчитывая ни на диплом, ни на личное счастье. Эта новая жизнь началась в Петербурге, куда Худяков отправился, имея звание домашнего учителя, которое только и мог получить вместо университетского диплома.

«Осенью 1862 года я приехал впервые в Петербург, — рассказывал он в воспоминаниях, — и приехал по-своему богачом. В кармане у меня было до 80 рублей (эти деньги были отчасти заработаны летом на уроке). Однако я сумел их тотчас же употребить на издание третьего выпуска сказок, так что на руках у меня не осталось ни копейки, а впереди был только один долг в типографии»^{42}. От хронического безденежья он бедствовал еще больше, чем в Москве.

В Петербурге Худяков близко сошелся с так называемым сибирским кружком — группой молодых людей, уроженцев Сибири, впоследствии видных ученых, писателей и общественных деятелей этого края, Г. Н. Потаниным, Н. М. Ядринцевым, Ф. Н. Усовым, Н. И. Наумовым и др. Вместе с ними он и поселился.

Позже, вспоминая об этом времени, Потанин писал, что Худяков жил беднее всех из их весьма бедствовавшего кружка. «В его маленькой комнате стоял стол на четырех ножках, из которых одна была сломана, и потому был устойчив только в том случае, когда был прижат в угол, и еще стул. Худяков спал на огромном ящике, наполненном его книгами, исполнявшем, таким образом, два назначения — кровати и библиотеки. Питался он еще хуже нас, у него не хватало денег на картофель, и ежедневное меню его состояло только из ситника с маслом»^{43}. Да и сам Худяков не скрывает, что первое время в Петербурге ему «по целым дням приходилось сидеть совершенно голодным»: за пять месяцев он обедал не более двух раз, да и то в гостях^{44}. Но он давно уже привык равнодушно

относиться к житейским лишениям.

«Такие бедствия не останавливали, однако, моего археологического жара, — подтрунивал он позже над собой, — я даже задумал издавать специальный журнал по народной поэзии: истинное безумие для человека, не имеющего гроша!»^{45} Действительно, в делах Петербургского цензурного комитета В. Г. Базанов нашел прошение Худякова, датированное 17 сентября 1862 года, о разрешении издавать журнал «Сказочный мир», первую книгу которого он рассчитывал выпустить уже в ноябре того же года. К прошению была приложена и программа журнала. В нем предполагалось печатать исследования по фольклору и материалы как русской народной поэзии, так и устного творчества других народов. Библиография трудов по этой проблематике должна была составить последний отдел журнала.

Однако ходатайство Худякова не встретило отклика в бюрократических сферах. Министерство внутренних дел вкупе с III отделением сочли «неудобным вообще верить студентам, до воследования новых правил книгопечатания, издание журналов»^{46}, замысел Худякова не состоялся.

Гонимый нуждой, молодой ученый пытался было устроиться на государственную службу — поступить на должность дежурного в Публичную библиотеку. Но и эта попытка кончилась ничем.

Специалист по славяноведению профессор И. И. Срезневский, один из крупнейших ученых того времени, убеждал Худякова, что перед ним один только верный путь — держать экзамены на кандидата в Петербургском университете, и обещал, что все отметки будут поставлены без опроса. Но до экзаменов надо было дожить — они бывали в конце весны, а впереди была еще зима 1863 года.

Выручило Худякова пособие Литературного фонда. Но ушло оно на новые типографские расходы. Худяков выпустил книгу «Материалы для изучения народной словесности». В нее входили болгарские, сербские и финские сказки, полученные от профессоров Ф. И. Буслаева и В. И. Григоровича, записи сказок Потанина и исследование самого Худякова «Смерть Святогора и Ильи Муромца». Очевидно, это были материалы, намечавшиеся в первую книгу «Сказочного мира».

В это время Потанин представил Худякова в Русское географическое общество, где имелся особый Этнографический отдел, который и поручил ему составить свод русских загадок. Худяков с присущим ему пылом принялся за работу. А Срезневский по-прежнему настаивал на своем. «Да

бросьте вы свои загадки, — убеждал Срезневский, — выдержите лучше на кандидата. Вы еще молоды: двадцати одного года вы будете кандидатом, двадцати двух — магистром, двадцати трех можете быть доктором, двадцати четырех — академиком»^{47}. Он видел в Худякове вполне зрелого ученого, человека выдающегося таланта, которому ничего не стоит сделать блестящую научную карьеру. Но Срезневский не разглядел главной черты в характере Худякова: его интересовала наука сама по себе, а не ученая карьера, какой бы заманчивой она ни была. Он не способен был и на другое — для личной выгоды бросить на полпути начатое дело. «...Экзамены начались, а я все сидел над загадками...»^{48} — писал Худяков.

«Великорусские загадки» в издании Этнографического отдела Русского географического общества были последним публикаторским трудом Худякова. Изданию было предпослано его же обширное предисловие. Тогда же Худяков напечатал в разных журналах несколько научных статей по проблемам устного народного творчества, в которых были изложены и его теоретические взгляды. Статьи эти, так же как и «Великорусские загадки», вышли уже в то время, когда молодого ученого стали волновать другие вопросы, заслонившие собою фольклористику. На этом закончился первый этап его служения науке.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ В МИРЕ НАУКИ

...Ни наука, ни эрудиция не могут служить для свежего и ясного ума помехою сочувствовать народным страданиям, бороться против деспотической власти и принести себя в жертву своим общественным убеждениям. Научные занятия служат маскою для нравственного индифферентизма лишь таких людей, которые были бы индифферентистами и вне всяких занятий наукою.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, Женева, 1882. Предисловие издателей.

Срезневский не зря рисовал перед Худяковым блестящую карьеру ученого. То, что было им сделано к двадцати двум годам, всего за каких-нибудь четыре с небольшим года, явилось весомым вкладом в изучение устного народного творчества.

Что же нового внес Худяков в эту область научного знания?

Отметим прежде всего значение его публикаторских трудов. Первый опыт восемнадцатилетнего студента — издание «Сборника великорусских народных исторических песен» для юношества — еще не имел научного характера. Да и с точки зрения публикаторской здесь не было ничего нового: тексты подбирались из печатных источников. Издавая их, Худяков имел в виду привлечь внимание юных читателей к народному творчеству, считая, что народные песни на исторические сюжеты послужат одновременно хорошим пособием «для первоначального знакомства с русской историей», как говорилось в его предисловии к «Сборнику». Таким образом, это издание преследовало чисто воспитательные цели.

Самый замысел — показать историю так, как ее видит народ, а не официальная историческая наука, — говорил о том, на чьей стороне уже в то время были симпатии Худякова. Но путь от симпатий и сочувствия к борьбе против деспотической власти еще не был пройден. Из двадцати восьми песен, включенных в «Сборник», пять — это песни о Степане

Разине, причем такие, в которых он не назван «разбойником», «чумой» и другими подобными эпитетами. Но не станем торопиться с выводами, будто это само по себе указывает на революционные настроения Худякова-студента или содержит намек на его веру в крестьянскую революцию. Такого уровня идейное развитие будущего революционера еще не достигло. Его интересы пока что сосредоточивались на таившихся в народе духовных силах.

Более важным научно-публикаторским вкладом Худякова в русскую фольклористику явились его «Великорусские сказки», три выпуска которых охватывали собой 122 текста. Примерно в те же годы (1855–1863) был выпущен значительно более обширный и ставший классическим труд А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки», состоявший из восьми выпусков и включавший в себя 640 сказок. Казалось бы, худяковским сказкам трудно было тягаться с этой солидной публикацией зрелого ученого и получить признание в печати. Однако в действительности все было не так. Почти все центральные периодические издания откликнулись на «Великорусские сказки» Худякова сразу же после их выхода в свет. В одном только 1861 году появилось не менее семи рецензий на первые два выпуска. И вряд ли кому из рецензентов и читателей приходило в голову, что сказки собраны восемнадцати-девятнадцатилетним юношей. Было в них то, что с точки зрения науки имело самостоятельную ценность, даже сравнительно с изданием Афанасьева, сохранившуюся и до наших дней.

В своем подавляющем большинстве «Великорусские сказки» — плод сбора и записей самого Худякова, тогда как Афанасьев в основном опирался на чужие записи. Другой важной заслугой молодого фольклориста было чрезвычайно бережное отношение к собранным материалам: он не подвергал свои записи редакционной обработке, не вносил в них собственных изменений, не объединял варианты в сводный текст. Худяков «считал текст сказок неприкосновенным наравне с текстом священного писания»^[49]. Правда, фонетических особенностей, характеризующих местные говоры, он еще не сохранял, как стал делать позже, находясь в верхоянской ссылке, где снова вернулся к изучению устного народного творчества. Но зато он строго придерживался географической паспортизации сказок, указывал место их записи, а в отдельных случаях и имен самих рассказчиков — первоисточника записей. Он производил сбор сказок в деревнях Рязанской, Нижегородской, Тульской, Орловской, Тамбовской губерний. Известным новшеством, нарушавшим сложившуюся традицию, являлся сбор сказок не только в деревнях, но и в городах (Москва, Казань, Тобольск, Рязань и др.). Наконец,

в свою публикацию Худяков включил и сказки книжного, литературного происхождения, перерабатывавшиеся по-своему народом, — сказки о Бове-королевиче, царе Соломоне, Золушке и др.

Чрезвычайно ревниво относился молодой ученый к бесцеремонному вмешательству часто невежественных цензоров, которые — «о ужас! — как иронизировал он позже — не только запрещали целые сказки, вычеркивали места, но и исправляли по-своему народные выражения, иногда до того неудачно, что из целого рассказа выходила одна бессмыслица»^[50]. В третьем выпуске «Великорусских сказок», печатавшемся в Петербурге и прошедшем через Петербургский, а не Московский цензурный комитет, ему удалось под видом опечаток и погрешностей «уничтожить хотя некоторые вопиющие цензорские поправки» Московского комитета^[51] и таким образом частично обойти цензуру.

Худяков предполагал дать к «Великорусским сказкам» подробный комментарий. Но сделать это ему не удалось. Его оторвали от сказок другие работы, в частности великорусские загадки, а вскоре его интересы вообще направились в иную сторону.

Надо сказать, что не все собранные Худяковым сказки были опубликованы. В предисловии к первому выпуску он отмечал, что «некоторые обстоятельства не позволяют печатать многие интересные сказки...». Это могли быть сказки с атеистическим налетом или сатирическим изображением духовенства, не пропущенные духовной цензурой, но могли быть и такие, которые печатать допускалось только с отточиями из-за грубоватого, непристойного юмора. В изъятых у Худякова при обыске бумагах было, как он пишет, несколько листов очень скромных сказок, загадок, пословиц. Они послужили смачной пищей для развлечения чиновных пошляков из следственной комиссии, которых народная сатира привлекала одной лишь скабрёзной стороной^[52]. Исследователи разыскивали в архивах эти листы. Для них, как и для Худякова, это было прежде всего творчество народных масс сатирического характера. Однако поиски успехом не увенчались. Эти листы, как и почти все «вещественные доказательства», изъяты при аресте у главных участников процесса, погибли во время пожара, уничтожившего архив Петербургской управы благочиния.

Но сохранились другие неопубликованные сказки, записанные Худяковым. Они были обнаружены автором настоящей книги в делах следственной комиссии как изъятые у ишутинца Н. П. Страндена. Это черновые наброски с сокращением слов и другими приемами записи на

слух. Видимо, эти сказки были отданы Худяковым Страндену для опубликования в «Народном календаре» — издании, готовившемся на рубеже 1865–1866 годов группой ишутинцев. Снятые с этих сказок фотокопии были переданы В. Г. Базанову и О. Б. Алексеевой, расшифрованы ими и опубликованы в книге «Великорусские сказки в записях И. А. Худякова».

Третьей важной публикацией, принадлежавшей Худякову, были «Великорусские загадки». Сборник, выпущенный им в Москве еще в 1861 году, включал 731 загадку, из которых около 200 были записаны самим Худяковым. В сборнике же, выполненном по поручению Русского географического общества, содержалось 1705 загадок. Труд этот вышел в 1864 году в издании Географического общества — «Этнографическом сборнике» (выпуск VI, № 6) — и был высоко оценен. Худякова наградили серебряной медалью, а известный этнограф Н. В. Калачев писал в своем отзыве: «Худяков, несмотря на короткое время, уже успел оказать отделению этнографии важную услугу. Ему поручено было приготовить к изданию собранные отделением великорусские загадки с составлением к ним предисловия. Это поручение исполнено Худяковым с той отчетливостью и любовью к делу, которыми отличаются собственные его издания. Новое собрание загадок далеко превосходит все прежние их собрания и замечательно по обширному к ним предисловию, в котором объясняется значение загадок в народном быту и поэзии и указываются главные периоды их развития в Великой России...»^[53]

Однако научная деятельность Худякова не ограничивалась одной лишь публикаторской. Его перу принадлежало несколько исследовательских статей по проблемам фольклора, в которых были отражены его теоретические взгляды на устное народное творчество. Эти взгляды сложились под влиянием так называемой мифологической школы. Сторонники этого направления усматривали первооснову фольклорных памятников в религиозных верованиях древнейших племен и народов, в созданных ими мифах. Главное внимание они уделяли установлению связи между современным народным творчеством и мифологическими представлениями древности как их первоисточником, оставляя в стороне социальную сущность фольклора.

Еще в Казани, когда он был студентом первого курса, Худяков увлекся теоретическими проблемами фольклористики и пытался самостоятельно ответить на мучившую его загадку о происхождении народной поэзии. «Меня всего более заинтересовали своею странностью народные мифы и сказки, — рассказывал он. — Перечитывая их, я заметил в них некоторое

взаимное сходство, некоторую общую стройность. «Откуда они взялись?» — вот вопрос, который, как гвоздь, засел мне в голову»^{54}.

Влияние мифологической теории прослеживается на всех работах Худякова этого времени. Так, первый отдел задуманного им журнала «Сказочный мир» должны были составлять «исследования по мифологии, о памятниках устной поэзии и о памятниках древней письменности, находящихся в связи с сказаниями, проникшими в народ»^{55}. Илья Муромец для него — это «низведенный в богатыри русский громовержец», Соловей-разбойник — олицетворение ночи, меч Ильи — молнии и т. д. «Его объяснения некоторых созданий народной фантазии на основании этой теории, — писал Г. А. Лопатин, — страдают теми же натяжками, которые постоянно встречаются у представителей этой школы, и в особенности у российского ее адепта, г. Буслаева»^{56}.

Даже в последнем своем этнографическом труде — в предисловии к «Великорусским загадкам» — Худяков продолжал выискивать мифологическую основу загадок, за что получил справедливый упрек в рецензии «Современника» на это издание. «Мы заметили бы только автору, — писал анонимный рецензент (теперь мы знаем, что это был А. Н. Пыпин), — что напрасно он прилагает излишнее усердие к отыскиванию мифического смысла в таких загадках, где этого смысла никак невозможно доказать»^{57}.

Следует, однако, иметь в виду, что мифологическая теория в то время характеризовала собой определенный уровень развития науки и критические замечания, раздававшиеся в ее адрес, касались скорее частных, то есть тех или иных толкований, а не принципов. Мифологической теории еще не была противопоставлена другая, более высокого научного уровня. К тому же ее несомненным приобретением был сравнительно-исторический метод, который позволил Худякову выйти за рамки собственно мифологической теории и увидеть социальное значение фольклора.

В той же самой статье «Смерть Святогора и Ильи Муромца», в которой он дает мифологическое толкование сказочных и былинных персонажей, Худяков пишет: «Незаметно для самих себя рассказчики прибавляли необходимые комментарии, так что каждая чисто народная сказка в настоящее время представляет собой не только основной миф, полученный ею от доисторических времен, но и целый ряд народных комментариев, то есть и всю историю в устах народа. Приписывая происхождение чисто народных сказок и былин мифу как рассказу о

природе, мы совсем не хотим сказать этим, что народ, создавший сказки и былины, только и занимало религиозное отношение его к природе и рассказы об ее явлениях. Совсем нет; черты своей бытовой и исторической жизни он внес в готовый уже материал, и, забывая первоначальное значение своих мифов, он выразил в своих преданиях все, что интересовало, радовало и устрашало его». Таким образом, центр тяжести перемещался у Худякова с мифологии на вопросы бытового, исторического и социального значения.

Научный интерес сохраняет его статья «Народные исторические сказки», опубликованная в 1864 году в «Журнале министерства народного просвещения» (№ 3). Исследуя различные сказания об исторически достоверных лицах и событиях, он показывает, что нередко сказочный элемент настолько вплетался в них, что становился как бы неотъемлемой частью и в таком виде попадал в летописи.

Народная словесность, привлекавшая Худякова прежде всего как научная проблема, все больше обростала в его глазах социальными вопросами, а затем и политическими. Сбор сказок, загадок, пословиц и другого этнографического материала явился для него известной политической школой. Эта работа не только привела его в соприкосновение с деревней, познакомила с ее бытом, а главное, положением, как раз в момент разработки и проведения крестьянской реформы, но позволила разглядеть в самом народном творчестве черты социального недовольства и протеста. И чем дальше, тем больше — особенно в те годы, когда Худяков выходил «на прямую дорогу», — он стал выделять из народной мудрости именно то, что подчеркивало этот протест. Это мы увидим в его пропагандистски просветительных книжках для народа.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НАУКА ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ!

Кто действительно ищет истину во всех областях мысли, тот скоро убедится, что в общественных науках понимание истины нераздельно от стремления воплотить ее в жизнь и в дело, нераздельно от убеждения, требующего жертвы.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии. Женева, 1882. Предисловие издателей.

Перелом которым ознаменован петербургский период жизни Худякова, наступил не сразу. Можно проследить, как новое окружение, новые связи и знакомства, а главное, политические события тех лет постепенно оттесняли его интерес к науке и как научные занятия фольклором окончательно отступили перед тем, что сделалось для Худякова главной, единственной целью жизни.

Личная близость с сибирским кружком не сразу стала близостью идейной. В то время, когда социальные проблемы занимали второстепенное место в жизненных интересах Худякова, — в сибирском кружке уже зрели замыслы широких общественных преобразований, и прежде всего преобразования Сибири.

Одна из богатейших областей Российской империи испытывала, кроме общего гнета, ложившегося на страну под пятой самодержавия, еще и свой местный: царизм и бюрократия превратили Сибирь в обширнейшую из тюрем, в землю каторжников и ссыльных всех категорий. Полуколониальному угнетению подвергались малые народности, населявшие Сибирь. Самодержавие стремилось задержать их развитие, сохранить нищету и почти первобытную дикость, чтобы не лишиться дешевых поставщиков пушных богатств.

Противодействие прогрессивных кругов Сибири политике царизма вылилось в идею автономии. Ее приверженцы считали, что автономия сможет обеспечить общественную самодеятельность населения и тем поднять социально-экономический уровень этой окраины. Впрочем, идея

областной автономии, которую часто приписывают одним только «сибирским областникам», или «сепаратистам», вовсе не являлась их изобретением. Она была ходячей политической идеей того времени. Ее обоснованию много места уделял в своих публицистических трудах сподвижник и друг А. И. Герцена Н. П. Огарев.

Сибирские друзья Худякова вскоре покинули Петербург и отправились в Сибирь, чтобы осуществлять свои замыслы легальным и тайным путем. Они звали с собой и Худякова. «Да помилуйте, что я там буду... Я сам очень мало развит, — отвечал он. — Нет, я пока останусь здесь и буду заниматься наукой»^[58]. Однако в научные интересы Худякова все настойчивей врывались новые вопросы, заданные самою жизнью, — как уничтожить царящую в человеческом обществе неправду и несправедливость. Если «приверженцем конституции» он стал еще в Казани, то теперь, пять лет спустя, Худяков пришел к заключению, что одним политическим преобразованием не искоренить социального зла, не уничтожить угнетения человека человеком, порождаемого частной собственностью, не достичь всего, что нужно народу, изнывающему от нищеты, невежества и эксплуатации. Демократические убеждения Худякова слились с социалистическими. Он достиг высшей точки идейного развития, которое было возможно в России в ту эпоху. Первые шаги в этом направлении, несомненно, были связаны с влиянием социалистически настроенных участников сибирского кружка. Теперь уже Худяков считал недопустимым для честного человека сидеть сложа руки и наблюдать, как все больше укореняется гнет. В этом именно смысле он говорил о своем «выходе на прямую дорогу», который совершил бы раньше, доведись ему в Казани слушать лекции А. П. Щапова. Щапов был социалистом и широко пропагандировал идею народного начала в государственной и общественной жизни.

Слияние идей утопического социализма, рожденных западноевропейской мыслью, дополненных мыслью о значении общинного владения землей, с защитой интересов народа, основную массу которого составляло крестьянство, характеризовало собой процесс формирования русского народничества, как широкого общественного течения, господствовавшего почти на всем протяжении второй половины XIX века. В русской публицистике выразителем этого процесса на его ранней стадии был журнал «Современник», издававшийся Н. А. Некрасовым. Душою журнала являлись Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский.

На революционно-демократических позициях стоял и другой журнал — «Русское слово» Г. Е. Благосветлова, в котором ведущая роль

принадлежала Д. И. Писареву. «Русское слово» не имело народнической окраски. Внимание сотрудничавших в нем публицистов было сосредоточено на проблемах распространения знаний, главным образом естественных наук и прежде всего в той среде, которая способна их воспринять — в кругах молодой интеллигенции — «мыслящих реалистов». Это направление было естественной реакцией на то, что крестьянская масса не восстала против реформы. В общественном преобразовании ведущая роль отводилась интеллигенции.

«Современник», еще при Чернышевском и Добролюбове выставивший на своем знамени социалистические идеи, неразрывно связанные с мыслью о народе как движущей силе революции, определял главную задачу «молодого поколения» в установлении тесных контактов с массами, в просвещении народа и пропаганде социалистических идей.

Разногласия между двумя демократическими органами со спадом революционной ситуации все больше углублялись, и полемика, вспыхнувшая как будто по второстепенным вопросам, приняла весьма острые формы. «Раскол в нигилистах» — так злорадно назвал эти споры Ф. М. Достоевский. Каждое из направлений имело своих приверженцев среди молодежи.

Худяков принадлежал к сторонникам «Современника». Все его интересы были сосредоточены на народе. И если еще недавно крестьянство привлекало его прежде всего как создатель духовных ценностей — произведений эпоса и народной мудрости, то в петербургский период он увидел деревню как будто бы в новом свете. Именно к этому периоду относит сам Худяков свое подлинное знакомство с положением крестьянства. «Из Петербурга я каждое лето ездил на свидание с родителями, — пишет он, — и эти поездки давали мне случай видеть народную жизнь. Трудно представить себе более трудолюбивый и более бедный народ, как те крестьяне, которых мне приходилось видеть...»^{59} Его родители в это время уже переехали из Сибири в среднюю полосу России.

Результатом новых наблюдений было нарастающее убеждение, что крестьянская масса — благоприятная почва для пропаганды, так как самое положение крестьян толкало их, по мысли Худякова, на путь борьбы. «Платы за надел, штрафы за скотину, переступившую барскую межу, совершенно разорили целые деревни, — отмечал он. — Некоторые селения нарочно переписаны помещиками из крестьян в дворовые накануне объявления манифеста; потому совершенно не получили надела. Нечего и говорить, что при подобных обстоятельствах люди делаются враждебны к

правительству...»^{60}

Еще более откровенно Худяков высказывал эти мысли в ссылке подосланному к нему шпиону Трофимову. В одном из донесений последнего говорится: «Считает русский народ в сильно возбужденном состоянии»^{61}. В другом Трофимов писал, что на его возражения о привязанности народа к государю Худяков ответил: «Я говорил не раз с народом и могу вас уверить, что русский мужик не так привержен к государю, как вы думаете, и всегда поймет свою пользу. При этом идеи достаточно распространены, нужно уметь только распорядиться ими». Худяков, по словам Трофимова, утверждал, что правительству нечего рассчитывать не только на народ, но и на войско. «Когда нас содержали в крепости, — говорил он Трофимову, — то караульные солдаты высказывали сожаление, что покушение не удалось. Если бы царя убили, говорили они, мы бы покончили с великим князем Николаем Николаевичем и другими... Это говорил не один и не два»^{62}.

Точно ли передал Трофимов слова и мысли Худякова, мы в данном случае не знаем. Но в рукописи «Опыта автобиографии» около слов о том, что в наказание за «запирательство» на следствии Муравьев посадил его на хлеб и воду и поставил караульных солдат прямо в камере, есть следующая фраза в скобках: «Разговор с караульными»^{63}, подтверждающая, во всяком случае, факт какой-то беседы, казавшейся автору важной.

Разумеется, представления Худякова о возбужденном состоянии народа и о его осознанной враждебности к правительству не соответствовали действительному положению вещей: он принимал желаемое за реальное, а главное, не замечал противоречия между этим желаемым и его же собственными наблюдениями, говорившими о беспросветной темноте и забитости крестьянства. Он сам рассказал, как в одном селе Симбирской губернии крестьяне, узнав, что он пишет книги, прозвали его «чернокнижником»^{64}, как в другом селе по поводу польского восстания говорили: «Да чаво тут, ишь ты, все польский чарь-то задират нашего же»^{65}; как ямщик, который его вез, удивлялся, «как это едет он, едет, а все не может обогнать солнышко»^{66}.

Однако темнота крестьянства, о которую неизбежно разбивались все революционные замыслы демократического подполья, казалась делом поправимым и вовсе не требующим длительного времени.

Еще деятели эпохи падения крепостного права видели одну из своих насущнейших задач в просвещении темных народных масс ускоренными темпами. «Вслед за освобождением от крепостного права другой

громадный вопрос занял Россию: освобождение народа от невежества, главной причины его страданий», — писали в 1862 году в статье «Крепостники грамотности» основатели тайного общества «Земля и воля» (тогда еще не имевшего этого названия) Н. А. Серно-Соловьевич и А. А. Слепцов^[67]. С этой целью устраивались воскресные школы, народные читальни при книжных лавках и библиотеках, общества для издания и распространения среди народа популярной литературы.

Это было одной из форм легальной деятельности общества «Земля и воля». Еще весной 1862 года членами этого общества А. Д. Путятой и А. А. Слепцовым было организовано «Общество по изданию дешевых книг для народа», состоявшее преимущественно из преподавателей второго кадетского корпуса. Известна только одна книжка, подготовленная этим обществом, — «Сборник рассказов в прозе и стихах». В ней были напечатаны произведения выдающихся русских авторов — Некрасова, Достоевского, Щедрина, Никитина, — доступные для начинающего читателя. Вначале одобренный цензурой, сборник был вскоре запрещен, а затем и сожжен, так как помещенные в нем стихи и рассказы метили в одну точку — в несправедливость общественного устройства России. Составители стремились объединить задачи просвещения с задачами пропаганды.

В том же 1863 году, когда вышла эта книга, и в той же типографии О. И. Бакста, одного из прогрессивных деятелей русской демократической печати, где она была издана, вышел еще один сборник подобного же рода — «Русская книжка» И. А. Худякова. Это было началом его выхода «на прямую дорогу», первой книгой, составленной в новом для него жанре — книгой для народного чтения.

«Русская книжка» состояла из двух отделов. В одном были помещены народные сказки, загадки, пословицы, былины и песни, то есть произведения народного творчества, которым и до того посвящал свои труды Худяков. В другом — поэтические и прозаические произведения русских авторов. Затем в ней давался месяцеслов.

По своей направленности, подбору фольклорного материала, стихов и рассказов «Русская книжка» была однотипна со «Сборником рассказов в прозе и стихах». Из пословиц отметим, например, такие: «Хоть шуба овечья, да душа человечья», «Не всяк умен, кто в красне наряжен», «Не строй семь церквей, пристрой семь детей». Здесь были стихи Некрасова «Забытая деревня» и «Деревенские новости», рассказы Н. Успенского и А. Ф. Писемского из деревенской жизни, басни Крылова, такие, как «Богач и бедняк», «Гуси», «Мирская сходка», «Волк и ягненок» и др.

«Русская книжка» сразу же была замечена критикой. В «Книжном вестнике» — библиографическом журнале — составителя хвалили за народные начала. Рецензент исходил из мысли, что важнейший вопрос цивилизации — «это основать эту последнюю (путем литературы пока) на чисто народных элементах»^{68}. Так мог писать не только социалист-народник, но и славянофил или близкий к славянофильству «почвенник» — представитель литературного направления, принятого журналами братьев Достоевских. Однако тот факт, что в рецензии было высказано сожаление по поводу отсутствия в сборнике песен и былин времен Степана Разина и памятников отношения народа к церкви и язычеству, в которых «выражались больше главные стороны народного характера»^{69}, наводит на мысль, что эти критические замечания шли скорее от критика-демократа, чем от славянофила или «почвенника».

В «Русском слове» книжку Худякова обругали, и как раз за то, за что ее похвалили в «Книжном вестнике». Здесь рецензент высмеивал тех, которые «возлюбили нашей почвенной любовью свою низшую братию и вознамерились просвещать ее трехкопеечными изданиями»^{70}.

Случайное ли это совпадение, что два однотипных сборника вышли почти одновременно и печатались в одной и той же типографии или же «Русская книжка» Худякова была уже актом его участия в деятельности революционного подполья? На этот вопрос мы не решились бы дать ни положительного, ни отрицательного ответа, так как не знаем, в это ли время или позже установились конспиративные связи Худякова с революционным подпольем. Несомненно лишь то, что по своей общественной направленности «Русская книжка» отличалась от хрестоматийных сборников этого времени, в которых главное внимание уделялось религиозным наставлениям и укреплению верноподданнических чувств, и издание этого сборника оказалось в том же идейном русле, в каком шла легальная пропагандистски просветительская деятельность русского революционного подполья.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВЫХОД НА ПРЯМУЮ ДОРОГУ

Социалистические идеи, в которых Худяков видел отражение коренных народных чаяний, оказали решающее влияние на его уход от науки в революцию. Интерес к духовным ценностям, созданным народом, отступил перед раскрывшимися его глазам народными страданиями. Основной жизненной целью стала не наука, а уничтожение несправедливых общественных отношений.

Порвав с наукой, Худяков порвал и с ее жрецами. Он больше не мог оставаться в кругу людей, которые писали о народе и в то же время были глухи к его нуждам. Основным критерием в оценке людей стали для Худякова их гражданские чувства и политические настроения, а не научные заслуги. И если еще недавно он видел своих прямых учителей в Ф. И. Буслаеве или И. И. Срезневском, был постоянным посетителем вечеров профессора М. И. Сухомлинова, то вскоре все они стали ему чужды и даже враждебны.

В «Опыте автобиографии» он вспоминает о них только с горькой, уничтожающей иронией. «Я не дурак, — говорил Худякову Буслаев в откровенном разговоре летом 1862 года. — ...Мне своя голова дорога. Если одержат верх революционеры, придут ко мне: «Да помилуйте, господа, скажу я, вот так и так, я всегда держал вашу сторону». Если одержит верх правительство, опять я скажу: «Да ведь я всегда был с вами, господа!»^{71}

А вот его рассказ о Срезневском.

«Они там в «Современнике» хотят революцию сделать, — вопиял Срезневский. — Я думаю, все честные люди должны собраться и сделать контрреволюцию и крестовый поход против невежества!..» Понятно, — заключал Худяков, — что такие выходки в связи с мелочностью личных интересов археологов отвлекали меня от связи с ними совершенно в другую сторону»^{72}.

Свой идейный поворот Худяков связывал с именем Г. З. Елисеева — в то время одного из ведущих сотрудников «Современника» и члена тайного общества «Земля и воля». Елисеев был вполне сложившимся и убежденным социалистом-народником. «Знакомство мое с Елисеевым, — сообщает Худяков, — было весьма для меня полезным в умственном отношении». Речь шла об идейном, а не общем развитии. Это видно из

непосредственно за данными следовавших слов: «В то же время археологи возмущали меня своим равнодушием к насущным потребностям народа»^{73}.

С Елисеевым, тоже сибиряком по рождению, Худякова познакомил Г. Н. Потанин. Это произошло в самом конце 1862 года или в начале 1863 года. Знакомство, несмотря на большую разницу в годах — Елисеев был годов на двадцать старше Худякова, — вскоре перешло в дружбу. В своих воспоминаниях Елисеев так писал о Худякове: «...Очень ко мне близкий молодой человек, хорошо меня знавший, к которому я был очень привязан, равно как и он ко мне»^{74}.

Ограничилось ли влияние Елисеева на Худякова чисто идейной стороной, пробудившей в нем интерес к социализму, или же с помощью Елисеева Худяков связался с революционным подпольем, — мы на этот вопрос не беремся ответить. Трудно сказать, в какой степени сам Елисеев принимал прямое и непосредственное участие в делах революционного подполья. В своих воспоминаниях он вообще отвергает свою причастность к революционным конспирациям, хотя отдельные факты такой причастности устанавливаются документально. Заметим также, что на квартире Елисеева одно время жил и сам Худяков, уже отдавшийся революционной борьбе, вместе с некоторыми своими друзьями.

В донесениях Трофимова есть два разноречивых свидетельства о Елисееве. В одной из ежедневных черновых записей, которые он вел непосредственно после бесед с Худяковым, говорится: «В большой дружбе с каким-то Елисеевым, из семинаристов, который принадлежал их заговору»^{75}. Однако в официальном донесении, обобщавшем ежедневные записи, сказано только, что «Худяков в Петербурге был в коротких отношениях с Елисеевым, бывшим учителем семинарии»^{76}. Возможно, что Трофимов потом уточнял вопрос о Елисееве и не получил подтверждения об его участии в заговоре.

Но так или иначе, а влияние Елисеева на Худякова было прежде всего идейным влиянием. В практическом осуществлении идей ученик пошел значительно дальше учителя: он целиком отдался революционной борьбе и пропаганде, с той же одержимостью, с какой недавно отдавался научным изысканиям. Теперь вся его литературная деятельность сосредоточилась на создании книг для народа. О них мы расскажем в особой главе. Если нам неизвестно, когда именно связи Худякова с революционным подпольем приобрели конспиративный характер, то факты его личного знакомства со многими землевольцами, относящиеся уже к зиме 1862/63 года, имеют

документальное подтверждение.

Из воспоминаний Л. Ф. Пантелеева, одного из видных деятелей «Земли и воли», мы узнаем, что он, как и другой руководитель этого тайного общества, Н. И. Утин, уже в эту зиму знал Худякова. «Тогда трудно было сказать, — рассказывает Пантелеев, — что это за человек; с одной стороны, его симпатии были направлены к области народного эпоса, и, несомненно, из него мог выработаться незаурядный специалист; он даже пытался издавать журнал, специально посвященный народной поэзии, но не получил разрешения. А с другой стороны, его начинали интересовать текущие общественные дела и как будто сказывалось желание занять несколько активное положение. Несмотря на это, я не решился завести с ним прямой разговор; также и Утин, к которому он заходил, удержался от искушения привлечь его к «Земле и воле». И вдруг, к моему великому удивлению (я тогда был уже в Сибири), всплыл в каракозовском деле»^{77}. С Худяковым познакомил Пантелеева земледелец П. П. Княгининский.

«В опыте автобиографии» есть в скобках (то есть в недописанных местах воспоминаний) такая фраза: «Рассказ Ут. о приезде К-ча»^{78}. «Ут.» — это Н. И. Утин, «К-ч» — И. Кеневич — представитель польского Центрального комитета, который вел переговоры с руководством «Земли и воли» относительно помощи польскому восстанию путем организации хотя бы местных восстаний в России. Рассказал ли Утин об этом Худякову в Петербурге, то есть в первой половине 1863 года, или же в Женеве осенью 1865 года, где они снова встретились, — это неизвестно.

Из следственного дела и некоторых других документов выясняются конспиративные связи Худякова и с некоторыми другими бывшими землепользователями или близкими к тайному обществу людьми, — Е. П. Печатанным, О. И. Бакстом, И. А. Рождественским, В. С. и Н. С. Курочкиными, А. Д. Путятой, М. Я. Свириденко, Н. Д. Ножиным и др. Но опять же остается неизвестным, в какое время они установились и когда приобрели конспиративный характер.

По воспоминаниям Худякова можно судить, что во время польского восстания он уже целиком был на стороне революции. Но, может быть, тогда только еще определялось его желание «занять несколько активное положение», говоря словами Пантелеева. Худяков открыто выражал свою горячую симпатию и глубочайшее сочувствие к восстанию 1863 года. Он отстаивал право Польши на ее независимость везде, где только случалось завести разговор — среди крестьян и «простонародья», на профессорских раутах и в помещичьих кругах, вступал в споры с военными и с

реакционными журналистами.

Худяков рассказывает о том, как в одной из деревень Нижегородской губернии вел разговор с крестьянами о «польской войне» и пытался вызвать недовольство крестьян необходимостью поставлять лишних рекрутов^{79}, как, рискуя столкнуться с доносчиками, спорил в вагоне третьего класса со случайными попутчиками, которых одурманивала шовинистическая пропаганда М. Н. Каткова и «Полицейских ведомостей». «Публика слушала со вниманием, — писал он, — и хотя по большей части осталась при своем, но не донесла»^{80}. Подобные же разговоры Худяков вел и в кругу «образованных классов». По возражениям его оппонентов нетрудно угадать, что говорил он сам. «Помещики по этому вопросу стояли на своей точке зрения, — сообщает Худяков. — «Положим, я согласен, вы говорите правду: но все-таки, если уж они вздумали бунтовать, то их нужно сперва усмирить, а тогда уже и освободить». Гвардейские полковники, привыкшие торговать своею совестью, толковали иначе. «Ну что вы вместе с поляками сделаете? Ведь у вас нет денег; нет денег — нет и солдат; вы идете на смерть. — Лучше помереть, чем помириться с подлостью! — отвечал я. И для многих в то время такой ответ не был пустой фразой»^{81}.

Худяков рассказывает также, как на вечере у профессора русской литературы М. И. Сухомлинова он «открыто смеялся над русскими газетами», которые дают лживую информацию о борьбе войск с повстанцами, указав, в частности, на газету «Русский инвалид», и как спорил по этому поводу с неким полковником, как раз и оказавшимся редактором этой газеты^{82}.

По существу, это уже была чистая пропаганда, имевшая своей целью разоблачить действия правительства и привлечь на сторону польских повстанцев мнение общественности и народных масс. Естественно, что следующим шагом (если не одновременным) должна была стать попытка личного сближения и с польскими революционерами. Однако все это происходило как раз в такое время, когда русское революционное движение переживало кризис.

Идейный разброд, вызванный тем, что ожидавшееся крестьянское восстание не состоялось, а царизм оказался куда сильнее, чем это представлялось совсем недавно, проявился в «расколе в нигилистах». Явно ощущалось, что вопрос о роли народа, как движущей силы революции и общественного преобразования, нуждался в уточнениях и коррективах. Изобретались и новые тактические средства борьбы с самодержавием.

Кризис движения сказался и в том, что со второй половины 1863 года

«Земля и воля», как организация, действовавшая под общим знаменем, распадалась и к началу 1864 года объявила о своей самоликвидации. Распадались и хирели отдельные землевольческие кружки, автономные и до того не очень-то тесно связанные с центром.

Одни из руководителей и наиболее энергичных деятелей землевольческого движения томились в царских тюрьмах (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Серно-Соловьевич, группа лиц, арестованных по делу Андрущенко, Мариенгофской типографии и т. д.), другие вынуждены были эмигрировать (Н. И. Утин, А. А. Серно-Соловьевич, М. К. Элпидин и т. д.), третьи отходили от движения, шли на государственную службу (А. А. Слепцов, Н. Н. Обручев и др.). «Русский заговор, — писал Худяков, — держался на ногах только до тех пор, пока длилось польское восстание. С падением его он чуть было не скончался. Некоторые либералы, уже мечтавшие назавтра быть генералами от революции, опустили голову...»^{83} Революционное подполье надо было связывать заново.

Между тем бывшие землевольческие и какие-то новые кружки полулегального характера продолжали свое существование. История петербургского подполья этих лет совершенно еще не изучена. Можно лишь в самых общих чертах указать на несколько опорных пунктов продолжавшегося освободительного движения, внешне выглядевших как вполне легальные предприятия. Это книжные магазины и библиотеки с читальнями, типографии, бесплатные школы, производительные ассоциации, строившиеся по образцу мастерской Веры Павловны, героини романа Чернышевского «Что делать?», бытовые коммуны.

Закончив следствие по делу 4 апреля, М. Н. Муравьев как раз и обращал внимание на тайных деятелей, которые «под фирмой литературных занятий были руководителями разных социалистических изданий, переводов, учебников для народа и иных книг в видах распространения социалистического учения. Они также были участниками в составлении разных обществ, питателен, артелей, бесплатных школ и иных учреждений, имевших целью под видом благотворения соединять и объединять в социалистическом и противоправительственном направлении мысли молодого поколения»^{84}.

Назовем только некоторые из подобного рода предприятий.

Книжные магазины с библиотеками и читальнями при них Н. А. Серно-Соловьевича (продолжавший существовать под этой фирмой и после ареста его владельца и перешедший потом к А. А. Черкасову), В. В. Яковлева и А. С. Голицына. Типографии Е. Печаткина, О. Бакста, И.

Огрызко. Бесплатные школы, организованные П. В. Михайловым, А. К. Европеус, Э. В. Европеус, А. Летним. Переплетная артель В. И. Печатанной (Глушановской). Бесконечно переплетаются имена лиц, имеющих отношение к этим предприятиям — и в подавляющем большинстве это все лица, так или иначе связанные с Худяковым.

В типографии О. Бакста еще в 1863 году печаталась «Русская книжка» Худякова. Однако отношения с Бакстом имели не только деловой характер. Из воспоминаний Худякова видно, что он частенько бывал здесь и встречал разных своих знакомых. У Бакста он познакомился и со своей будущей женой — Леониллой Лебедевой, молоденькой девушкой, которая уже была известна как «нигилистка». Она занималась в школе А. К. Европеус (жены бывшего петрашевца), где преподавали причастные к революционному движению А. М. Никольский и Г. А. Лопатин, а также была постоянной посетительницей переплетной артели В. Печаткиной, где проводились и общеобразовательные занятия с участницами ассоциации. Ими руководили земледелец И. А. Рождественский и связанный с подпольем А. А. Криль. К деятельности переплетной был причастен и Худяков. Это была одна линия его связей, однако далеко не единственная.

В 1864 — начале 1865 года уже существовали какие-то основания для опасений подвергнуться аресту. Об этом тревожилась его будущая жена. «Плохо, Иван Александрович, — говорила она, — нет, вы скрываете, вас арестуют»^{185}. Обсуждая с Леониллой вопрос о браке, подобные же опасения высказывал и сам Худяков. «Не завтра же тебя арестуют, — возражала она. — Хоть бы месяц пожить хорошенько, а там хоть и умрем вместе, мне все равно». Такой разговор происходил весной 1865 года. В конце мая они поженились. Но еще до этого, взвешивая все «за» и «против» брака с Леониллой, Худяков задумывался над тем, что «Леонилла уже обратила на себя внимание полиции; стало быть, вышедши за меня замуж, она обратила бы его и на меня. Это совершенно противоречило моим планам»^{186}.

Еще, осенью 1864 года в Петербург переехала первая любовь Худякова, Е. В. Гололобова, со своим гражданским мужем И. В. Ведерниковым. Худяков жил в это время на квартире Елисеева. Вместе с ним поселились и приехавшие. С помощью Худякова была создана бытовая коммуна. В нее, кроме Гололобовой и Ведерникова, вошли брат Леониллы А. Лебедев, А. и П. Никольские и несколько позже А. А. Комарова. Это были люди, уже имевшие опыт подпольной работы. Братья Никольские были связаны с польским подпольем и вместе с другими — братьями

Автономом и Андреем Фортакowymi, А. А. Штукенбергом, Е. Печаткиным, И. Рождественским принимали участие в устройстве побега из-под ареста польского революционера П. Юндзилла и отправке его за границу. П. Никольский укрывал у себя и у своих друзей участника польского восстания Т. Олтажевского (Олтаржевского) и снабдил его подложным паспортом. Через П. Никольского осуществлялась связь между петербургским и московским польским подпольем по сбору средств для помощи арестованным и скрывающимся революционерам и для организации побегов^{187}. «А. Никольский, — писал Худяков, — был одною из светлейших личностей, которых я только встречал в своей жизни; он отдавал на других все деньги, которые ему посылала мать, а сам существовал на семь-восемь рублей в месяц, которые он добывал перепиской или уроками»^{188}.

Зато далеко не светлой личностью оказалась А. А. Комарова, позже не только отошедшая от движения, но и пытавшаяся его оклеветать в своих воспоминаниях, выпущенных в форме повести «Одна из многих» в 1883 году. Но за двадцать лет до этого — в 1863 г. — она искренне примкнула к землевольческому кружку Н. А. Суловой (впоследствии первой женщины-врача в России), находилась также в самой тесной связи с польским подпольем, занималась распространением прокламаций, собиралась ехать в Польшу, чтобы сражаться на стороне восставших. В коммуну она попала через Леониллу, с которой познакомилась в переплетной артели. Живя в коммуне, Комарова вела пропаганду среди извозчиков и рабочих, ходила по квартирам «простонародья», читала там отрывки из романа Чернышевского «Что делать?» и убеждала, что все должны жить в коммунах.

В своей повести-воспоминаниях Комарова писала: «Впоследствии я узнала, что всем в коммуне незримо управлял знакомец Л-ва (А. Лебедева. — Э. В.) Х. (Худяков. — Э. В.) — «настоящий Рахметов», как говорили наши. Этот Х. вместе с И. (Ишутиним. — Э. В.), который тоже не жил с нами, но часто заезжал из Москвы, был главою заговора 4 апреля...»^{189}

О роли Худякова в коммуне Комарова узнала не «впоследствии», как она пыталась изобразить восемнадцать лет спустя, и это устанавливается ее откровенными показаниями на следствии. Однако о «заговоре» знала не очень-то много, но все же кое-что ей было известно, в частности роль Худякова и Ишутина.

Вот что рассказывал о Худякове Г. А. Лопатин, познакомившийся с ним на рубеже 1865–1866 годов. «Он принадлежал душой и телом московскому кружку заговорщиков и составлял центр петербургского

отделения этого общества»^[90]. Лопатин не входил в эту тайную организацию и скептически относился в то время к «заговору», однако он оказался весьма осведомленным о тайной деятельности Худякова. Дело в том, что, ожидая ареста после покушения Каракозова, Худяков именно с Лопатиным, как человеком не скомпрометированным, объяснился «начистоту» и просил его «взять на себя временное ведение обезлюженного дела», «перехватить кое-какие заграничные и внутренние письма; известить кого следует о положении дел и прекращении на время сношений; сбересть заведенные пути для доставки заграничных изданий и т. д. и т. д.». Даже из Алексеевского равелина Худяков сумел связаться с Лопатиным, «доставил» ему некоторые сведения и просил «связать уцелевшие остатки организаций»^[91]. Из этого свидетельства видно, что к моменту ареста Худяков развернул достаточно широкую деятельность.

Установление контактов с ишутинцами действительно было для деятельности Худякова важнейшим этапным моментом. Но раньше, чем переходить к рассказу о том, как установились эти связи и в чем они выразились, расскажем еще об одной линии подпольных контактов Худякова в Петербурге, контактов с польским революционным подпольем.

В условиях разброда, царившего в русском революционном движении с конца 1863 года, польское подполье, действовавшее и ранее совместно с русским, явилось теперь для последнего важным опорным пунктом. Хотя и польскому революционному движению был нанесен сильнейший удар кровавой расправой царских властей с восстанием 1863 года, но оно не пережило того идейного кризиса, который наступил в русском подполье. Царские виселицы, каторга и ссылка унесли лучший цвет польской революционной демократии, однако не смогли охладить ее национально-освободительных стремлений. Обезглавленное и обескровленное движение все же не прекратилось: оно ушло лишь в более глубокое подполье и сохранило свои связи с верными освободительной борьбе представителями русского подполья. В Петербурге это были упоминавшиеся уже Никольские, Фортаковы и др. К ним надо присоединить В. М. Озерова, после 4 апреля сумевшего скрыться и выехать за границу раньше, чем его имя стало известно следственным властям.

Через Никольских ли и Фортаковых сблизился Худяков с польскими революционерами или нашел какие-то другие пути — неизвестно. Но что его связь с поляками не ограничилась одной только обоюдной помощью при устройстве побегов или в сборе средств, а приобрела более серьезный характер, на это есть прямые указания, и к ним мы обратимся ниже.

Вопреки утверждению Л. Ф. Пантелеева польский историк В. Пшиборовский называет имя Худякова в числе членов Центрального комитета «Земли и воли». В данном случае для нас важно не столько то, соответствует ли истине указание Пшиборовского, сколько представление польских деятелей (на свидетельства которых опирался в своей работе Пшиборовский) о роли Худякова в революционном движении. Возможно, что здесь просто произошло смещение памяти о времени, когда Худяков занял руководящее положение в подполье.

Чрезвычайно скупы сведения о пропагандистской деятельности Худякова. С этой стороны мы знаем его главным образом как автора книг для народа. Между тем Худяков выступал — и в роли непосредственного пропагандиста, общавшегося с этой целью с «простонародьем». По свидетельству Лопатина, он «шел в этом отношении чуть ли не впереди всех других своих товарищей. Компания, которой он был душой, постоянно обучала грамоте отставных солдат, мастеровых и т. п. людей. Понятно, что эти занятия грамотою, происходившие на частных квартирах, не ограничивались этою скромною целью, но переходили в беседы гораздо более поучительного свойства»^[92].

Добавим к этому, что дом Худякова часто служил пристанищем для нуждавшихся и неимущих. Им оказывалась не только материальная поддержка. Так, у Худякова воспитывался десятилетний мальчик Андрей Кондратьев, сын сторожа в Главном управлении военно-учебных заведений. Худяков обучал его грамоте. Мальчик, по-видимому, обладал художественными способностями, он брал уроки рисования у капитана Кириенко, старшего помощника квартального надзирателя первого квартала Васильевской части. Все это было выявлено во время следствия по делу Каракозова, и Андрея даже допрашивали о лицах, посещавших Худякова^[93]. И лишь спустя два года стало известно, что уроки, преподававшиеся Худяковым Кондратьеву, были тоже «поучительного свойства».

При одном из обысков в Петербурге нашли бумажку с записанными на ней загадками и ответами на них. И тогда выяснилось, что это записи Андрея Кондратьева, его упражнения в письме, которые ему задавал Худяков. Кроме народных загадок с отгадками, здесь был следующий текст в виде вопросов и ответов:

«Кто всегда людей вешает?» — Царь.

Кто всегда над бедными смеется? — Бог.

Какие всегда умные люди? — Которых вешают

и ссылают.

.....

Где всегда хорошие люди? — В Сибири.

Когда лучше будет жить? — Когда не будет царей.

Кто на свете подлецы и дураки? — Генералы»^[94].

Вот то немного, что известно об Андрее Кондратьеве. Пропали ли даром уроки политической грамоты или дали свои плоды — мы не знаем.

Еще меньше у нас сведений о другом юноше, близком к Худякову, Мейере Левентале. Выходец из бедной еврейской семьи, он был учеником в мастерской Технологического института. Худяков оказывал ему денежную помощь, а по словам брата Худяковой, А. А. Лебедева, Левенталь одно время у Худяковых жил. Левенталь был арестован во время следствия по делу Каракозова. При аресте у него нашли лист бумаги с рисунком шахматной доски, обозначенными на ней фигурами и надписью: «Задача в память 4-го апреля. Фигуры представляют римскую цифру IV». Левенталь утверждал, что списал эту задачу в газете, но это был вымысел^[95].

Покушение Каракозова изображалось, таким образом, как борьба на шахматном поле. Кто подразумевался под белыми и кто под черными фигурами, сказать трудно. Но симптоматично уже то, что о «чудесном спасении» царя ни в заглавии, ни в комментариях Левентале не было ни одного слова.

Летом 1865 года у Худяковых получила приют молодая девушка Е. Д. Шемякина, учившаяся в бесплатной школе А. К. Европеус. «Шемякину, как мне рассказывали, — сообщал на допросе Лопатин, — рекомендовал попечению госпожи Европеус господин Энгельгардт (впоследствии известный народник-публицист. — В. В.), который желал вывести ее из-под влияния не совсем нравственной семьи (одна из ее сестер, судя по рассказам, просто публичная женщина)»^[96]. Летом, когда занятия в школе Европеус прекратились, Шемякину взяли к себе Худяковы. Она пробыла у них около трех месяцев, встречала там, по ее словам, А. Никольского, М. Левентале, Г. Елисеева и некоторых других^[97].

Как мы видим, сведения эти очень отрывочны. Но все же они дорисовывают человеческий облик Худякова.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗНАНИЯ НАРОДУ

Его имя осталось не только в памяти личных друзей и товарищей; оно осталось и останется почетно в рядах русских революционных деятелей, как одного из самых искусных пропагандистов революции в России под цензурной формой.

Из некролога И. А. Худякова, «Вперед!», 1 декабря 1876 года, № 46.

Потаенную, подпольную деятельность Худяков сочетал с легальной литературной работой. Но теперь эта работа приобрела иное направление, чем в годы, отданные изучению устного народного творчества. Тогда он брал у народа, ничего не отдавая взамен; теперь он возвращал свой долг народу, стремясь вручить ему светоч знания, раскрыть глаза на окружающий мир и на причины народных бедствий. «К этому времени, — пишет Г. А. Лопатин, — относится полный переворот и в литературной деятельности Худякова. Вместо лингвистических исследований он принимается за популяризирование для народа имеющегося знания. Он пишет книжки для народных масс, книжки *цензурные*, но тем не менее говорящие в опытных руках о многом не особенно-то цензурном»^[98].

Надо, однако, сказать, что книжки Худякова не были просто популяризацией чужих трудов. Когда дело касалось исторических и общественных явлений, он самостоятельно их переосмысливал, создавал собственную концепцию исторического процесса, в котором главную роль отводил народным массам или защитникам их интересов^[3].

Имелась ли связь между прежними научными разысканиями Худякова и его книжками для народа, или это были два обособленных этапа его литературной деятельности? Конечно же, такая связь существовала. Она прослеживается и в его ученых трудах последних лет и в книжках для народа. Так, в статье «Женщина допетровской Руси», опубликованной в «дамском» журнале «Модный магазин» в 1863 году (№ 20–22), рассматривается образ женщины в народной поэзии и древнерусской

литературе и одновременно дана характеристика женского бесправья, полуазиатских форм подчинения, узаконенных «Домостроем». Все это показано на общем фоне допетровской Руси, то есть в прямой связи с политическим и общественным строем.

В книжках для народа Худяков широко использовал пословицы и поговорки, песни и предания, как бы возвращая народу его же собственные мысли. Он как будто говорил читателю: «Ведь это твои слова, тобою открытая истина, следуй же ей. И прислушайся к тому, что рас-скажу тебе я, подмечай, как близка твоя истина к моему рассказу и как не вяжется она с твоими суевериями».

Общение с народом при сборе фольклорных материалов показало Худякову всю глубину народного невежества, особенно наглядно проявлявшегося в народных суевериях. Разработка мифологической теории на материалах русского фольклора подводила теоретическую основу под эти суеверия, протягивала нить к первобытным воззрениям человека на природу. Отсюда само собой напрашивался вывод: необходимо в первую очередь разрушить народные суеверия; именно они держат народные массы в темноте и бездействии. И мы видим, как во всех своих книжках, подходя с разных сторон к одному и тому же вопросу, Худяков стремится раскрыть то зло, которое принесли человечеству невежество и суеверия, показать их исторический источник и их социальные последствия.

Этой мыслью пронизан его первый авторский труд для народа — «Рассказы о старинных людях», состоявший из четырех выпусков, опубликованных в 1864— 1865 годах. В них содержались очерки по истории древнего мира — рассказы о древних индийцах, египтянах, финикийцах, ассирийцах и вавилонянах, персах, греках и римлянах. Был среди этих рассказов и очерк «Древние израильтяне», но его запретила цензура, как несогласный «с историей, святой церковью и всеми разумными людьми признанной»^[99].

«Рассказы о старинных людях» не только политическая история народов, но также история верований древнего мира, как первоосновы социальных отношений. И когда цензура, спохватившись через некоторое время, занялась специальным рассмотрением этой книжки, цензору, ее рецензировавшему, прежде всего и бросилась в глаза атеистическая концепция Худякова, отменявшая вместе с суевериями и христианскую религию.

«...Сочинитель «Рассказов», — говорилось в отзыве цензора, — объясняет происхождение религии у каждого народа преимущественно влиянием на него естественных сил, присоединяя к тому и другие

источники: невежество масс и выдумки жрецов, которые хотели властвовать над необразованными массами и обогащаться на их счет»^{100}. И цензор негодует по поводу того, что «о необходимой, присущей человеческому духу потребности в религиозных верованиях» у Худякова «нет и помину». Но особенно возмущал цензора тот факт, что Худяков не противопоставил язычеству древних народов христианскую религию, по существу, уравнивал их. «Так как религия, по учению «Рассказов», — пишет он, — возникает у народа в период его невежества, когда он почти еще ничего не знает, то автор постоянно называет ее суеверием. Такое название было бы совершенно понятно, если бы он разумел под ним только языческую ложную религию, противопоставляя ее вере истинной, христианской. Но об этой противоположности нигде не упоминается: для автора нет различия между суеверием и религией вообще...»^{101}

Цензор-рецензент, несомненно, уловил главный замысел Худякова — развенчать вместе с суевериями и «истинную» религию. И то и другое было в глазах Худякова средством для угнетения масс, с одной стороны, и показателем достигнутого уровня научных знаний — с другой. И чем выше становился этот уровень, тем больше перед человеческими знаниями отступали суеверия и религия. Под таким углом зрения и рассматривал Худяков историю древнего мира. «В Египте и Ипдпи, — пишет он, — строгое разделение каст, несчастное положение суеверного, забитого парода, жизнь жрецов и царей за счет народа... У вавилонян и персов хотя тоже много суеверий, но эти суеверия уже не так давят народ... У этих народов и сословия более или менее равны в правах, хотя все вместе — рабы одного владыки, который один обладает верховной властью и распоряжается народом по своему личному произволу... У финикийцев власть царя была уже ограничена и не одними жрецами, но и богачейшими гражданами»^{102}. Афины же, продолжает он свою мысль, «достигли такого свободного политического устройства, при котором сам народ решал мир или войну, назначал и сменял всех чиновников и издавал законы»^{103}. Здесь, как считал Худяков, высшую власть имело народное собрание. Таким образом, политическую свободу он ставил в прямую связь с развитием человеческого общества от суеверий и религии к знанию. «...В наше время, — заключал Худяков свою мысль, — народы достигли или по крайней мере стремятся достигнуть совершенного уничтожения рабства, полной свободы мысли и слова, полного равенства всех полов и сословий и мечтают о братском союзе народов»^{104}. И не случайно в агентурном донесении в III отделение говорилось, что в книжке Худякова проводится

мысль, что «образованные люди не нуждаются в царской власти»^{105}. Этот вывод действительно вытекал из его освещения истории древнего мира.

В «Рассказах о старинных людях» проявились не только политические симпатии Худякова, в угоду которым он идеализировал Древнюю Грецию, но и его социалистические взгляды. В рассказе о спартанском законодателе Ликурге Худяков подчеркивает социальное значение его реформ. «Ликург хотел, — пишет он, — не только равенства спартанцев в правах, но и равенства их имуществ. Он хотел, чтобы не было ни богатых, ни бедных; чтоб все были равны»^{106}. Но для Худякова было ясно, что экономическое равенство достигается только уничтожением частной собственности. «Если бы Ликург, — заключает он, — ввел у себя общинное землевладение, каков, например, обычай у наших крестьян, так равенство было бы возможно»^{107}.

Это, конечно, было наивное рассуждение утописта, который считал, что знание и идеи определяют поступательное движение человеческого общества. А раз это так, то возникнуть и осуществляться они могут на любой стадии общественного развития. Но следует помнить, что это был тот уровень социалистических идей, выше которого освободительная мысль в России еще в то время подняться не могла.

Идеи общинного социализма проводились в «Рассказах о старинных людях» и на примере буддистских общин: у них «было все общее», они «стали жить по одному уставу» и «в них мог поступить всякий, даже иноземец»^{108}.

Однако, излагая буддистскую религию, Худяков показывал, как первоначально прогрессивное для своего времени учение, выражавшее протест против брахманизма — религии рабовладельческой аристократии в Индии, — позже «сделалось одним ненужным пустословием», стало обрастать догматическими легендами, ввело иерархию «по степеням святости» и т. д.^{109}, Он как бы наталкивал читателя на параллель с эволюцией христианства.

Цензор угадал и этот замысел. «Спрашивается, — негодуяще замечал он, — для чего помещены подобные рассказы в маленьких книжках? Неужели с той мыслью, чтобы лицо Будды, его учение и постановления буддистов сопоставить с лицом божественного учителя нашего, его учением и постановлением христианской церкви? Но эта мысль до того возмутительная, что ее трудно себе вообразить и ужасно о ней подумать»^{110}.

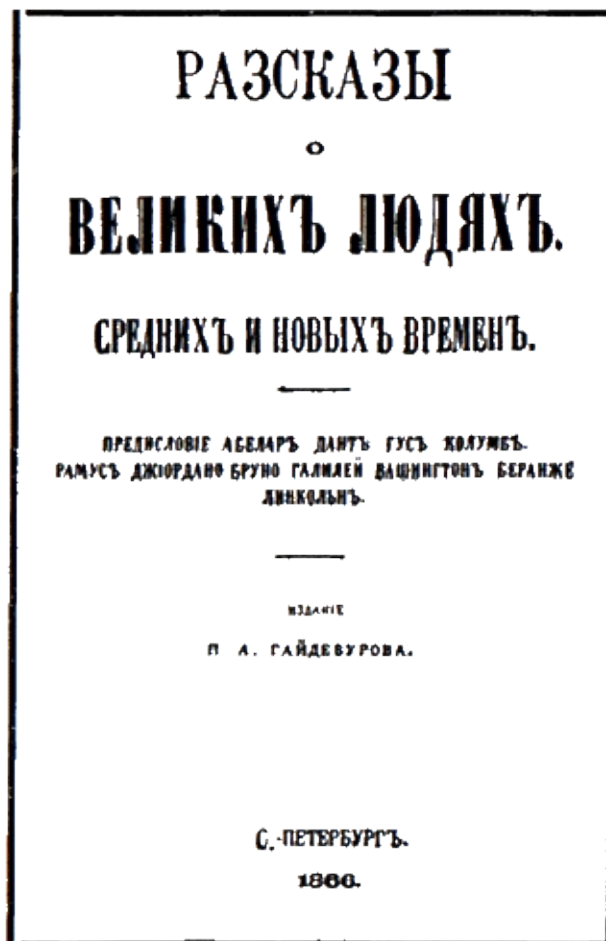
«Рассказы о старинных людях» не были изъяты, но 30 мая 1866 года

последовало указание о запрете их переиздавать.

Нетрудно убедиться, что, знакомя «простонародного» читателя с историей древнего мира, Худяков одновременно преследовал как просветительные, так и пропагандистские цели. Вскрывая источник древних верований и суеверий в невежестве и интересах господствующих классов — жрецов и рабовладельцев, — он заставлял задумываться над современными суевериями и современными общественными отношениями. Рассказывая о древних деспотиях или демократических порядках, он хотел, чтобы читатель сопоставил их с политическим строем царской России. Наконец, проводя мысль, что без уничтожения частной собственности нельзя достичь народного благополучия, он подводил читателя к идеям общинного социализма.

Такой же характер имела и другая книжка Худякова — «Рассказы о великих людях средних и новых времен». Это был сборник биографических очерков, изданный в начале 1866 года П. А. Гайдебуровым, впоследствии редактором народнической «Недели», человеком, близким к революционному подполью шестидесятых годов, одним из приятелей Худякова.

Слово «великий» обычно применялось к выдающимся монархам. Так, в России были названы великими Петр I и Екатерина II, в Западной Европе — Карл I — король франков и римский император, прусский король Фридрих II и т. д. В сборнике Худякова было всего два государственных деятеля — и те не наследственные монархи, а избранные правители: Джордж Вашингтон, первый президент Соединенных Штатов, вождь американской революции XVIII века, и Авраам Линкольн, президент, возглавивший борьбу против рабовладельческого Юга во время гражданской войны в США. Остальными великими людьми были мыслители, поэты, реформаторы — те, кто так или иначе боролись с суеверием и религиозным фанатизмом, гнетом церкви, сословными и политическими привилегиями.



Титульный лист книги И. А. Худякова «Рассказы о великих людях средних и новых времен».

В книге мы встречаем биографии французского философа-схоласта и богослова XII века Пьера Абеляра и поэта эпохи Возрождения Данте, вождя чешской реформации Яна Гуса и Христофора Колумба, французского философа-гуманиста XVI века Пьера Рамуса и итальянского мыслителя-материалиста Джордано Бруно, астронома и физика Галилео Галилея и французского поэта — песенника и сатирика Пьера-Жана Беранже. Такая трактовка человеческого величия сама по себе была вызовом традиционному толкованию великости. Худяков усиливал ее смысловое звучание, подчеркивая происхождение большинства своих великих людей из социальных «низов», — мало того, видя в этом их несомненное преимущество. «...Кстати, заметим, — писал он, — что

большая часть великих людей происходит из свежих слоев общества, из народа, хотя народу и более, всего труден доступ к знанию... Так, из народа вышли Рамус, Гус, Беранже, Линкольн и др.»^{111}.

Читателя могло озадачить и соединение в одной книжке жизнеописаний, казалось бы, совершенно различных людей — и по масштабам и по характеру их деятельности. Однако передовая демократическая печать сумела выделить общие мысли, связывавшие воедино «имена, по-видимому, не имеющие между собой ничего общего». Это, как говорилось в рецензии «Книжного вестника», журнала, который с середины 1865 года участники революционной борьбы считали «своим», — «одинаковая энергия убеждений, сила характера и т. д., выдвинувшие этих людей на удивление потомства». И действительно, объединяющим началом в «Рассказах о великих людях...» было подвижничество во имя новых идей и открытий, бескорыстное самопожертвование, которым был отмечен их жизненный путь и которое одно давало право на звание великих. Они стали великими не только как творцы новой мысли, направленной в будущее человечества, но как борцы за ее осуществление, противостоявшие темным силам реакции. «Общая участь, — отмечалось в той же рецензии, — всевозможные преследования современников (пытки, казни в более отдаленное время, клевета, доносы, заключение, изгнание, смерть от руки наемных убийц в более близкое), общечеловеческое родство непреклонной мысли — вот те черты сходства, которые позволили составителю соединить их биографии в один сборник»^{112}.

Главной целью Худякова было показать силу прогрессивной мысли, пробивающей себе дорогу сквозь толщу отживающих идей, охраняемых корыстными интересами церковной и светской власти, мысли гонимой и отвергаемой, но неизменно побеждающей. От руки палачей, клеветников и доносчиков гибнут люди, но не идеи. Мысль не сгорает на костре, ее не удушить на виселице, не расстрелять из пистолета и не сковать железными решетками тюрьмы. И сила великих людей в силе их мысли и деятельности. «Да, — писал Худяков, — преследования и пытки никогда не останавливают сильных людей, они только усиливают их деятельность. Кругом них собираются толпы слушателей и искренних приверженцев; страдания их вызывают сочувствие целых веков. Даже после смерти тень их тревожит врагов, воодушевляет последователей, а мысль двигает народы вперед; такова сила великой мысли, великого дела...»^{113}

В своем подавляющем большинстве великие люди Худякова — это борцы против католицизма. Но как языческим верованиям в «Рассказах о

старинных людях» не противопоставлялось христианство, так в «Рассказах о великих людях...» католицизму не противопоставлялось православие. Просто критика католицизма позволяла автору свободно высказывать свои мысли о религии вообще, не встречая цензурных препятствий. И когда он писал, что «католическое духовенство старалось подавить всякую независимую мысль и преследовало ее», что папы «злоупотребляли своей духовной властью так гнусно, что восстановили против себя всех благочестивых людей», что Ян Гус «обвинял прелатов в том, что они грабят народ» и «чешский народ все более и более любил его как защитника народных прав и народности против королевского произвола и притязаний духовенства», что духовные власти «должны были цензуровать в последней инстанции все печатные произведения»^{114}, то ничего специфически католического в этих характеристиках не выделялось: это были черты церковного и политического гнета в целом. И естественно, что этому гнету противопоставлялась не царская Россия с ее самодержавием и православием, а демократические свободы на примере Америки времен Вашингтона и Линкольна или Франции в эпоху Великой французской революции XVIII века.

Худяков отмечает, что пуритане, заселившие в XVIII веке Северную Америку, «вместе с духом религиозной независимости... принесли с собой и дух равенства; в основанных ими Северных штатах не было рабов, не было больших поземельных собственников, не было иерархической церкви во имя государства»^{115}. Во Франции с падением «старого порядка» «барщина и помещичьи права были отменены, католическая церковь потеряла свои имущества, монастыри были закрыты; гербы, титулы и ордена уничтожены; народ должен был сам управлять своими делами посредством выборных»^{116}.

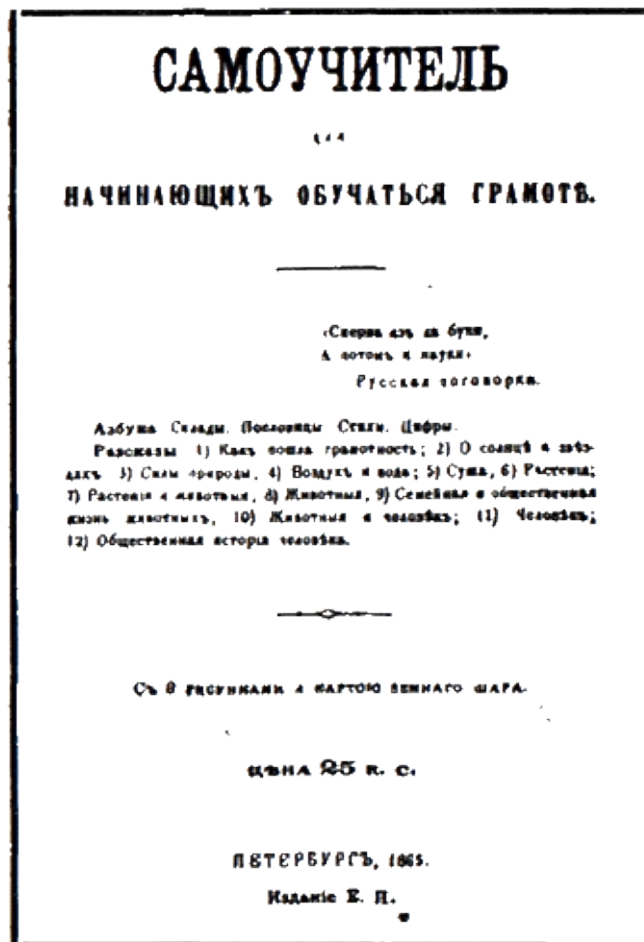
Наконец, особое внимание уделяет Худяков народным истокам в деятельности великих людей. Они не только выходцы из народа или поборники народных прав и интересов, но люди, черпающие в народе свою духовную силу. Так, Данте на народных собраниях «выучился говорить сильным народным языком, образец которого оставил в своих сочинениях»; смелость Рамуса «напоминала собою Гуса: недаром и тот и другой вышли из народа»; песни Беранже «пелись мещанами, крестьянами, солдатами, поденщиками, людьми всех сословий Франции», и потому их автор был ненавистен католическому духовенству больше, чем Вольтер^{117}.

В отличие от других просветительски пропагандистских книг Худякова «Рассказы о великих людях...» избежали преследования. В 1871

году они были переизданы.

Зато иная судьба постигла его книгу «Самоучитель для начинающих обучаться грамоте», изданную в начале августа 1865 года Е. П. Печаткиным огромным для того времени тиражом в 10 тысяч экземпляров и по весьма дешевой цене. 20 июля на выпуск книги было получено цензурное разрешение. А через три месяца она была запрещена и оставшиеся непроданными 5931 экземпляр конфискованы.

Эту книгу Худяков считал лучшим своим трудом. «Единственное хорошее дело, которое мне удалось сделать за это время, — писал он в своих воспоминаниях, — было издание «Самоучителя». На эту книгу я потратил бы гораздо больше труда, если бы меня не удерживала мысль, что рукопись могут запретить и, стало быть, труд все равно пропадет без пользы. Книга написана была так, что возбуждала интерес к естественным наукам, излагала по возможности читателей общий строй современного научного мирозерцания, и я был доволен этим» [\[118\]](#).



Эпиграфом к «Самоучителю» была выбрана русская пословица «Сперва аз да буки, а потом науки». Так строилась и сама книга. В первой ее части давалась азбука, склады, тексты для списывания, преимущественно состоявшие из пословиц, и два стихотворения, то есть все, что было необходимо для обучения первоначальному чтению и письму. Науки же были во второй и значительно более обширной части, состоявшей из рассказов, среди которых преобладающее место отводилось рассказам, дающим начатки знаний по естественнонаучным вопросам. Как первая, так и вторая части книги были подобраны таким образом, — писал о «Самоучителе» Г. А. Лопатин, — что оставляла в читателях даже без подсказывания учителя порядочный запас горечи и недовольства, и легко шевелила мысль в критическом направлении по отношению к современной жизни^{119}.

Фразы для чтения в первой части состояли, например, из таких пословиц: «Было вече, было легче», «До бога высоко, до царя далеко», «Князья в платье, и бояре в платье, будет платье и на нашей братьи». Затем шли пословицы, разделенные на четырнадцать тематических рубрик. Первая, например, называлась «Артель» и фактически отражала социалистические взгляды Худякова, а также намеки на крестьянскую революцию. Здесь были такие пословицы, как «Хороша артель, да без подрядчика», «Работнику копейка, а подрядчику рубль», «Терпит брага долго, а через край пойдет, не уймешь».

Таким образом, даже самый процесс обучения чтению и письму был подчинен задаче вызвать у ученика с помощью пословиц критическое отношение к действительности.

Но главной была вторая часть, состоявшая из следующих двенадцати рассказов: «Как пошла грамотность», «О солнце и звездах», «Силы природы», «Воздух и вода», «Суша», «Растения», «Растения и животные», «Животные», «Семейная и общественная жизнь животных», «Животные и человек», «Человек», «Общественная жизнь человека». В них в доступной для неподготовленного читателя форме сообщались сведения о происхождении планет (в том числе и Земли), о клеточном строении органической материи, излагалась дарвиновская теория происхождения видов и т. д. Только научные знания могли, по мысли Худякова, рассеять народные суеверия и невежество.

Но именно это прежде всего насторожило цензуру. В цензорском отзыве говорилось, что все статьи «Самоучителя» «проникнуты односторонним направлением, клонящимся к подрыву основ христианского учения и государственного порядка». Сотворение мира «вопреки священному писанию объясняется действием физических сил, на которое употреблены сотни миллионов лет. Ясно, что этот материалистический взгляд, — заключал цензор, — ведет к поколебанию в умах детей основ религиозных понятий». Возражения цензора вызывает и объяснение «развития растения и животного из клеточки зародыша путем борьбы за существование», и усилия автора, направленные «к представлению жизни животных тождественно с жизнью человека для того, чтобы опровергнуть духовную сторону нашего бытия», и попытка «объяснить явления нравственного мира материальными причинами». Тут, заключает он, «изложены начала материализма с целью поколебать в юности все основы нравственного сознания человека». Особенно возмущает цензора, что «повсюду в разбираемой книге проявляется крайне неприличное посмеяние над религиею...некстати упоминается о попугаях, выучившихся твердить «Отче наш», и тому подобные выходки встречаются во всей книге»^{120}.

Естественнонаучный раздел «Самоучителя» был подвергнут цензором полному разгрому. Между тем у Худякова он служил основой и иллюстрацией общего вывода о значении науки в истории человечества. «Вся история человека в том, — говорилось в последнем рассказе книги, — что он, мало-помалу накапливая знания, все лучше и лучше узнавал, как ему лучше пользоваться землей, растениями и животными, и таким образом, все лучше и лучше устраивал свою жизнь».

Не заблуждалась цензура и относительно замысла Худякова дать определенное освещение общественным вопросам в истории человечества. «Отдел, в котором излагается общественная история человека, — говорилось в отзыве, — проникнут исключительно стремлением представить превосходство народного правления и всемерно унижить монархическое начало... Управление монархическое выставлено в виде опеки, стесняющей всякое развитие общественной жизни народа»^{121}.

И действительно, Худяков писал о деспотиях, имея в виду вызвать читателя на сопоставление с Россией, следующее: «В первых государствах богатство и власть были разделены неравномерно. Все богатства и вся власть были в руках высших сословий, а всякое сословие, если имеет всю власть в своих руках, злоупотреблять может ею. Оттого в этих государствах

простой народ был так стеснен, что не мог не только переселяться по своей воле, не мог даже переменять платья, жениться или пировать без позволения начальства»^{122}. Как видим, аналогия полная с крепостной Россией, и слова, заключающие это описание: «Так было, например, в Перу», не могли обмануть цензора.

Его вывод был таков: книга «по своему направлению в высшей степени преступна и, будучи по своей цене (25 коп.) доступна для масс народа, может повести к последствиям самым гибельным»^{123}.

22 октября 1865 года министр внутренних дел П. А. Валуев после рассмотрения «Самоучителя» в цензурном комитете и в Управлении по делам печати писал петербургскому генерал-губернатору: «Имея в виду, что в этой книге, доступной по цене каждому, помещены рассказы о сотворении мира, о происхождении растений и животных, а также об устройстве современного общественного и государственного быта, не только несогласные с учением православной церкви и с установившимися в нашем отечестве понятиями о правительстве, но явно направленные к поколебанию в народе религиозных и политических убеждений, я признал нужным запретить обращение этой книги в продаже»^{124}.

Как же могло случиться, что цензура первоначально не заметила, что собой представляет «Самоучитель» и каким образом она обнаружила это позже? На этот вопрос мы находим ответ у самого Худякова в его воспоминаниях. Вот история его попытки обойти цензуру.

«...В России иногда, — рассказывает он, — легче написать книгу, чем выхлопотать ее разрешение; для этого иногда надо много и много похлопотать. Сперва получить рекомендацию к некоторой важной даме, от дамы к некоему Ивану Ивановичу N и т. д. «Вы не думайте, — говорит, наконец, последний Иван Иванович, — что уж если мы чиновники, так уже ничего и не понимаем. Нет, мы еще не совсем отсталые», — и дает рекомендацию к секретарю. Секретарь комитета, получая такую записку, в знак удовольствия мигает своим единственным глазом, и книгу под столь обманчивым заглавием позволяет представлять в корректурах к цензору Лебедеву. Тут нужен опять новый прием: с первым корректурным листом необходимо явиться лично самому и рекомендоваться археологом... Лебедев, зная еще прежде о моих археологических заслугах, приходит от такого знакомства в восторг, и листы читаются снисходительно...

Следующие листы читались через значительные промежутки времени, достаточные для того, чтобы забыть их связь; только последняя глава была испачкана. Но все-таки книга появилась (в первых числах августа) в таком

виде, что удивила многих»^{125}.

Худякову удалось обмануть не только бдительность цензуры, но и министерства народного просвещения. Как сообщает он, «Общество грамотности постановило было распространять ее, редактор министерства народного просвещения обещал, что с нового года министерство купит 10 000 экземпляров этой книги. Дело пошло бы хорошо, если б приказчик Печаткина не вздумал послать для распространения нескольких экземпляров в Вильно»^{126}. Там она попала на глаза усмирителю польского восстания М. Н. Муравьеву, он написал донос министру внутренних дел, и машина завертелась.

Позже, будучи председателем следственной комиссии по делу Каракозова и других, Муравьев, рассказывает Худяков, «как слабоумное дитя радовался, вспоминая, что ему еще прежде удалось донести... на «Самоучитель».

— Беспечность властей, беспечность властей! — твердил он с видимым удовольствием. — Если бы не я... пожалуй, теперь продавали бы второе издание!..»^{127}

Второе издание действительно вышло. Но это было уже тогда, когда сам автор томился в верхоянской ссылке. В 1867 году «Самоучитель» был переиздан в Женеве под заглавием «Жизнь природы и человека».

Блестящий отзыв дал об этой книге А. И. Герцен. Ее подарил ему сам Худяков, приехавший в Женеву сразу после выхода «Самоучителя». В письме к Н. П. Огареву Герцен писал: «Превосходно составленный учебник, т. е. из ряда вон». Он обучал по нем свою младшую дочь Лизу^{128}.

Нам осталось рассказать о последней научно-популярной книге Худякова, написанной для народа, — «Древняя Русь». Она создавалась в последние месяцы до ареста автора, но издать ее ему самому уже не довелось. Видимо, Худяков или же после его ареста Леонилла передали рукопись Г. А. Лопатину. В конце 1867 года Лопатин вместе с Ф. В. Волховским основали тайный кружок, известный под названием «Рублево общество», в задачи которого входила пропаганда в народе. Они и издали «Древнюю Русь» без имени автора и без цензуры. В начале 1868 года Лопатин и Волховский были арестованы, захвачена их переписка, и из нее стало известно о выпуске «Древней Руси».

Подвергнуть книжку цензурному преследованию оказалось в этот момент не так-то просто. Дело в том, что по закону 6 апреля 1865 года оригинальные сочинения объемом не менее десяти листов освобождались

от предварительной цензуры, то есть должны были быть представлены в готовом виде. Вопрос об их изъятии и уничтожении мог решаться только судебным порядком по представлению цензуры, и только при том условии, что автор или издатель нарушили букву закона о печати. В данном случае такого нарушения не было. И хотя Петербургский цензурный комитет сообщил в Главное управление по делам печати о «предосудительном и тенденциозном» содержании «Древней Руси», но поскольку было признано, что факты, изложенные в книге, основаны на источниках и содержатся в других, даже общедоступных книгах, постольку не за что было зацепиться, чтобы передать дело в суд. Единственное, что могли еще сделать цензурные зубры, — это запретить учебным заведениям министерства народного просвещения приобретать книгу. Это и было сделано^{129}.

Книга «была необыкновенно удачно составлена, — писал о «Древней Руси» Лопатин, — и пользовалась, в известных кругах большой репутацией». Речь шла о народниках-пропагандистах семидесятых годов, широко применявших книгу Худякова в эпоху «хождения в народ». «Конечно, это была не история князей и царей, — продолжал Лопатин, — а история народа, и, несмотря на всю свою цензурность, оставляла в заключение страшно горькое чувство в душе всякого мало-мальски не заскорузлого читателя»^{130}.

Спустя тридцать лет была сделана новая попытка легально издать «Древнюю Русь». За это время цензурный закон 1865 года «обогатился» положениями, освобождавшими цензуру от судебного вмешательства. Вопрос о запрещении или изъятии неудобных царизму изданий решался административно — постановлением Комитета министров.

Отпечатанная полным тиражом книжка была представлена в Петербургский цензурный комитет. При ее рассмотрении возникли разногласия. Цензор Н. М. Соколов считал, что «тенденция этой книги — поколебать исторические основы русского самодержавия и православия», тогда как, по мнению цензора А. А. Пеликана, «тридцатилетний опыт показал, что вреда от нее не произошло». В результате издателю было предложено внести в книгу некоторые исправления. Но и после этого Петербургский цензурный комитет остался неудовлетворен, так как даже «при всевозможных исключениях, основная вредная мысль книги — верховная власть с помощью бояр задавила народную волю — не может быть устранена».

Краткую, но исчерпывающую характеристику «Древней Руси» дал

министр внутренних дел И. Л. Горемыкин, представивший книгу для ее запрещения в Комитет министров. «По мнению автора, — писал он, — вся история допетровской Руси представляет непрерывную картину невежества, суеверий, народных бедствий, вследствие княжеских междоусобий и постоянной утраты вечевого и мирского самоуправления. Угнетателями народа являются князья и дружины, цари и бояре. Легче всего жилось народу при князьях до татарского нашествия, тяжелее в великокняжеский период... С заметным сочувствием автор относится к Стеньке Разину и его мужеству на пытке и казни. Лжедмитрий является предшественником петровских реформ, междуцарствие — временем народного правления на Руси, Земский собор 1613 г. — источником ограничения царской власти... На всем протяжении русской истории до Петра Великого автор усматривает исключительно возмутительный произвол правительства, мятежи и бедствия народа, суеверие и ересь в области духовной...» Горемыкин не ошибся: все это и хотел показать в своей книге Худяков. Но такую трактовку русской истории не могли допустить охранители самодержавия и православия. А отсюда следовал и вывод: «...Подобное злоумышленное извращение отечественной истории в книге, по цене и количеству экземпляров рассчитанной на широкое распространение, очевидно не может быть терпимо...» «Древняя Русь» была запрещена, и 10051 ее экземпляр уничтожены «посредством обращения в массу»^[131].

Мы не станем подвергать критическому разбору историческую концепцию Худякова, предъявлять к нему требования, ответить которым могла только марксистско-ленинская историография. Конечно, с точки зрения исторической науки сегодняшнего дня, у него было немало ошибочных выводов и представлений. И тем не менее для научного уровня столетней давности это было новое слово в освещении русской истории, новый подход к историческим фактам и событиям. Исторический очерк Худякова знаменовал собой несомненный шаг вперед не только от дворянской историографии, апологизировавшей самодержавие, но и от буржуазной, так называемой юридической школы, освещавшей исторический процесс как эволюцию правовых норм.

Пять книг просветительно-пропагандистского характера, разнообразных по тематике, но единых по направленности — таков итог трехлетней литературной деятельности Худякова с «выходом на прямую дорогу». Этот список можно дополнить брошюрой «Для истинных христиан. Сочинение Игнатия», выпущенной в Женеве в 1865 году. Но о ней мы расскажем в своем месте.

Книжки Худякова несли читателю из «простонародья» элементы естественнонаучных и общественных знаний, разрушавших религиозные верования и раскрывавших несправедливость политического и общественного устройства, основанного на единодержавии и классовом неравенстве.

Их отличала и манера изложения: доступные по стилю, эти книги не страдали упрощенчеством ни в отношении содержания, ни в отношении формы. Как отмечал Лопатин, «Худяков никогда не *подражал* так называемому *народному* языку и никогда не уснащал своей речи разными «значит», «к примеру будучи сказать» и т. п. *недостатками* народной речи, этими *заиканиями* народа, не привыкшего к связному выражению сколько-нибудь сложного рассуждения. У него вы не найдете ни одного из этих *украшений* в народном языке, придающих многим так называемым *народным* книжкам их народный *колорит* в наших глазах, но делающих их неудобочитаемыми для самого народа. Он обладал большим мастерством рассказывать и рассуждать с помощью *отдельных кратких речений*, легко схватываемых самым плохим грамотником, неспособным справиться со сколько-нибудь длинным периодом»^[132].

В мемуарах семидесятников-пропагандистов, в актах и протоколах обысков, производившихся у революционных народников, мы часто встречаем упоминания о пропагандистских книжках Худякова и о том успехе, какой имели они у читателей. В тяжелые годы ссылки их автора и даже после ранней его кончины они продолжали жить — жить именно той жизнью, которую и жаждал дать им сам Худяков.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

А В ЭТО ВРЕМЯ В МОСКВЕ...

Эти юноши увлекались не течением, а решились идти против него; они положили действовать в то время, когда большинство находило, что «о подобных делах не только сказать, но и подумать страшно».

*И. А. Худяков, Опыт автобиографии.
Неопубликованный отрывок.*

Осенью 1863 года несколько студентов и вольнослушателей Московского университета, бывших воспитанников пензенской гимназии и дворянского института, основали в Москве тайный землевольческий кружок. Это происходило как раз в то самое время, когда революционное движение под знаменем «Земли и воли» все больше замирало, идя к полному спаду, а в Москве прокатилась широкая волна арестов, обезглавившая местный центр тайного общества. Был схвачен и один из организаторов нового кружка, В. С. Карачаров. Но кружок уцелел и, постепенно разрастаясь, превращался в сравнительно обширную по тем временам тайную организацию. В литературе он получил название Ишутинского кружка. Иногда его именуют и Каракозовским.

Основателями кружка были очень молодые люди, почти юноши. Старшему — Н. А. Ишутину, разночинцу и бедняку, едва исполнилось двадцать три года; младший — П. Д. Ермолов, богатый помещик, унаследовавший крупное имение, — не достиг и восемнадцати лет, был по законам Российской империи несовершеннолетним.

«Цель наших действий, — показывал Ермолов на следствии, — была посредством революции уничтожить частную земельную собственность, водворив вместо нее общее пользование землей»^{133}. Ишутинцы были социалистами и в пропаганде социалистических идей стремились следовать программе Чернышевского, изложенной в романе «Что делать?». Их просветительская деятельность была лишь продолжением того, что делалось в годы общественного подъема.

Однако революцию они представляли себе уже иначе, чем их недавние

предшественники, которым она виделась как крестьянское восстание, идущее из толщи народных масс, поддерживаемое и направляемое революционерами из «образованных классов». Неоправдавшиеся надежды на крестьянскую революцию, казавшуюся столь близкой и неизбежной, порождали разьедающие и горестные сомнения — да способен ли темный, забитый мужик сам, по собственному почину, подняться против своих угнетателей? Да знает ли он, что его враг не только помещик и местный исправник, но прежде всего царь со своими чиновниками? И не следует ли из этого, что не народу, а именно революционному меньшинству должна принадлежать инициатива восстания, что это меньшинство может своими силами свергнуть самодержавие и пробудить тем самым народные массы к действию, повести их за собой и тогда уже передать им всю полноту власти в стране? Именно так и решали эти сомнения юные заговорщики. Позже один из деятельных участников Иштутинского кружка П. Ф. Николаев так писал об этом: «Отрицая народ как активного деятеля, веря только в активную деятельность единиц для блага народа, они (иштутинцы. — Э. В.) начертали себе программу захвата партией власти. Крестьянство, единственная общественная сила в России, примкнет, думали они, к той партии, которая сумеет доказать ему, что ее действия совпадают с его кровными интересами. Надо, следовательно, организовать сильную централизованную партию, чтобы начать борьбу с правительством»^{134}.

Говорят, что это был «шаг назад» от идей Герцена и Чернышевского о роли народных масс в общественном преобразовании. Но мы бы сказали, что однозначным ответом по законам формальной логики здесь не обойтись.

Если рассматривать понятие «народ» как абстракцию, охватывающую собой трудящиеся массы, то представление о революции, совершаемой не массами, а отдельными личностями, не могло служить питательной почвой для последующего этапа освободительного движения, связанного уже с выходом на общественную арену рабочего класса. Это представление не приближало, а отдаляло освободительную мысль от коренного марксистского положения о пролетариате как движущей силе и гегемоне в революционной борьбе. В этом смысле представление иштутинцев и являлось «шагом назад».

Однако в конкретном плане, то есть когда под народом подразумевалось крестьянство, трезвая оценка его неспособности выступить в качестве инициативной политической силы революции была «шагом вперед» сравнительно с мыслью о наличии такой способности у крестьянства. И естественно, что при отсутствии в России того времени

рабочего класса как общественной силы все надежды возлагались на «революционную партию», и ей приписывались те функции, которые осуществить мог только общественный класс.

Ишутинский кружок действовал, таким образом, в трех направлениях — пропагандистском, просветительском и заговорщическом. Для этого необходимо было расширить организацию и укрепить ее. Ишутинцы вели работу среди студенчества, привлекая его к своим просветительским начинаниям и вербуя наиболее решительных для конспиративной работы, связывались с остатками ранее существовавших кружков, устраивали производительные ассоциации для пропаганды социализма и бесплатные школы для воспитания детей в революционном духе.

Так, осенью 1864 года ими была основана переплетная артель, в которую привлекли и рабочих. С ними велись общеобразовательные занятия, и предполагалось в недалеком будущем передать им мастерскую для самостоятельного ведения дела. В январе 1865 года на имя кандидата Московского университета П. А. Мусатовского была — открыта бесплатная школа для мальчиков, а в феврале основана швейная артель на тех же началах, что и переплетная. Ее возглавляли сестры А. и Е. Ивановы, брат которых Д. Л. Иванов был одним из организаторов переплетной.

В швейной ассоциации с ее участницами также проводились занятия и читки литературы, в частности «Что делать?» Чернышевского. Весной того же года созрел замысел организации артельного чугуноплавильного завода в Калужской губернии. Инициатива в этом деле принадлежала судебному следователю А. — К. Маликову и мировому посреднику А. А. Бибикову, обратившемуся за содействием к ишутинцам. Осенью 1865 года была заарендована ватная фабрика в Можайском уезде, которая тоже должна была превратиться в артельную. Тогда обсуждался план устройства и земледельческой ассоциации.

Таким образом, за два года ишутинцы успели довольно широко развернуть свою пропагандистски просветительскую деятельность. И хотя она велась в легальных или полуполигальных формах, однако ее целью являлся не «мирный прогресс», а подготовка к революционному преобразованию России.

Даже уроки математики в школе Мусатовского использовались для пропаганды. Детям, например, задавался вопрос: что больше, единица или 72 миллиона? — чтобы внушить им мысль, что царь (единица) ничто перед 72 миллионами народа. На уроках естествознания, рассказывая о хищных птицах, объясняли, что орел в царском гербе символизирует хищную природу царизма.

Эта пропагандистски просветительская деятельность тесно переплеталась с идеей заговора против самодержавия. Г. А. Лопатин так характеризовал ишутинцев: «Несмотря на то, что схема так называемого каракозовского заговора отводила на первое время Самому народу очень мало места в насильственной перемене его участи, однако большинство каракозовцев были настоящие народники, питавшие реальные симпатии к народу, к черни, стремившиеся пропагандировать ему свои взгляды при каждом удобном случае, готовые помогать и материально и нравственно даже отдельным единицам, пока не пробил час помочь зараз всей массе путем низвержения давящего на нее гнета»^[135].

К 1865 году движение, возглавленное Ишутинским кружком, все более расширилось, пополняясь новыми людьми. Вокруг него образовалась целая сеть «дочерних» кружков. Разумеется, не все участники движения были в равной мере осведомлены о тайной деятельности заговорщиков или об их далеко идущих замыслах. Многие присоединялись только к просветительской работе.

Основное ядро кружка, вернее сказать, тайного общества, составляли, кроме Ишутина и Ермолова, Д. А. Юрасов, Н. П. Странден, М. Н. Загибалов — выходцы из дворянских достаточных семей. Несколько позже — в 1864 году — к ним присоединились В. Н. Шаганов (сын купца) и П. Ф. Николаев, кандидат Московского университета, сын чиновника и двоюродный брат Ишутина Д. В. Каракозов, происходивший из небогатых дворян, в семье которого и воспитывался рано осиротевший Ишутин. Каракозов перевелся из Казанского университета в Московский. К 1865 году не малую роль в основном кружке стали играть Д. Л. Иванов, выходец из совершенно обедневшей дворянской семьи, и особенно О. А. Мотков, сын вольноотпущенного дворового человека. Эти двое были на год моложе даже Ермолова. Душою кружка был Ишутин.

«Ишутинский кружок, с которым я познакомился еще летом 1865 года, — писал о них Худяков, — был одним из (замечательных явлений того времени. Идея добра соединила довольно тесно значительную кучку талантливых юношей, которые рано или поздно стали бы зерном обширного заговора. Эти люди отказались от всех радостей жизни и с самоотвержением молодости посвятили себя делу народного освобождения. Ермолов пожертвовал с этой целью всем своим состоянием (около 30 000 р. с.). Такие способные личности, как Ермолов, Николаев, Странден, Воскресенский, Оболенский, Маликов и др., всегда могли сделать много хорошего... Я не говорю уже о такой высокой и безупречной личности, которая бы сделала честь всякому поколению, какую был Д. А.

Юрасов»^{136}.

Много лет спустя упомянутый Худяковым Л. Е. Оболенский, ставший впоследствии заурядным либералом-журналистом народнического толка, рассказал о том впечатлении, какое произвел на него самый быт ишутинцев. «...Зимой 1865 года, — писал он, — я близко знал такой кружок (состоявший из очень богатых людей, по большей части юных помещиков Саратовской губернии), который поселился в садовой беседке ^[4]. Отоплялась эта беседка небольшой железной печью, в которой постоянно приходилось поддерживать огонь, чтобы не замерзнуть. Только один из этой компании, страдавший наследственными ранами на ногах и самый молодой из всех (ему было в то время 19 лет), некто Е-в (Ермолов. — Э. В.) спал на железной кровати, поставленной в углу, Остальные спали вповалку на матрасах, положенных прямо на пол. В этой беседке жило 7 человек. Самому старшему Ю. (Юрасову. — Э. В.) было около 24 лет. Один из компании К. (Каракозов. — Э. В.), как самый сильный, взял на себя обязанность приносить воду и готовить обед. Весь обед состоял из хлеба и кусков говядины, которую жарил К. на сковороде, помещаемой на ту же чугунную печку, заменявшую плиту. Впрочем, и эта роскошь была дозволена ими себе впоследствии, по приказанию врача: сперва они решили питаться одной колбасой с хлебом, но через неделю у всех развились различные болезни желудка, пришлось обратиться к доктору, и вот почему режим был изменен.

Трудно поверить теперь, что все это делалось ради принципа. Но это было именно так: в одно из моих посещений этой знаменитой беседки я видел в небольшом кожаном саквояже, висевшем над постелью Е., *шестнадцать тысяч рублей* его собственных денег, назначенных на общественное дело»^{137}.

Но жизнь аскетов не лишала их присущего молодости жизнелюбия. Сходки часто превращались в вечеринки с вином, песнями, танцами и шутками. Они влюблялись, женились, ревновали и страдали от неразделенной любви. И, как все люди, имели немало недостатков.

Ишутин, всей душою преданный делу революции, был неважным конспиратором. Он, по словам Худякова, «не был способен к роли серьезного заговорщика и, кажется, чувствовал это»^{138}. Излишне доверчивый, он не прочь был и прихвастнуть, вечно носился с новыми, порой совершенно фантастическими замыслами и начал проповедовать идею, что для революции все средства хороши. Правда, это были только разговоры, далекие еще от авантюристских методов Нечаева, воплотившего

в жизнь порочную идею «цель оправдывает средства». В то же время Ишутин обладал несомненными организаторскими данными и, как отмечал Худяков, «большим красноречием, когда приходилось говорить с народом»^{139}. Невзрачный, горбатый, Ишутин был вечно чем-то занят, вечно куда-то спешил и отличался необыкновенно подвижным и деятельным характером. С. П. Богданов, участник революционного движения семидесятых годов, повстречался с Ишутиним в карийской каторжной тюрьме, где Ишутин провел свои последние годы, будучи уже душевнобольным. Тем не менее у него бывали полосы просветления, и тогда, как свидетельствует Богданов, «речь его лилась плавно, логично, и он казался совсем здоровым...»^{140}

Полной противоположностью Ишутину по внешности и по характеру был его брат Каракозов, которого он, как и его Каракозов, горячо и нежно любил. Это был высокий, красивый молодой человек, обладавший незаурядной физической силой, с прекрасными голубыми глазами, молчаливый, сосредоточенный на собственных мыслях.

Личности Каракозова Худяков в своих воспоминаниях посвятил особую главу. Он считал Каракозова «одним из тех редких людей, у которых дело заменяет слова». Каракозов, писал Худяков, «не был тщеславным человеком, он действовал под влиянием своей то неподвижной, то бурной натуры; он мало заботился о том, что о нем скажут, и делал только то, что, по своим соображениям, считал полезным». Худяков относил Каракозова к категории людей, у которых «характер далеко превосходит силу ума»^{141}, т. е. быструю сообразительность и споеобность заранее все взвесить и рассчитать. Впрочем, этот недостаток Худяков объяснял «неподвижностью» натуры Каракозова. Осуждая допущенные им ошибки при покушении и на допросах, Худяков однако преклонялся перед душевной чистотой и высокой жертвенностью Каракозова «Самым неопровержимым доказательством его благородства, — заключал он, — служит глубокая степень ужасного раскаяния, сожаления о своем промахе, о гибели других, дело которых было для него делом жизни»^{142}.

Не позже 1864 года установилась связь Ишутинского кружка с польским подпольем в Москве. Они вместе с поляками организовали побег из пересыльной тюрьмы, «укрывательство» и отправку за границу выдающегося польского революционера, одного из руководителей восстания 1863 года, Ярослава Домбровского. Побег был устроен так блестяще, что до 1866 года власти не могли найти следов. И если бы не

предательство, то и во время следствия по делу 4 апреля обстоятельства побега Домборорского так бы и не раскрылись. Ишутинцы оказали денежную помощь и другому участнику польского восстания, бежавшему за границу от судебной расправы, Антону Трусову, впоследствии видному деятелю русской политической эмиграции, примкнувшему к Бакунину.

Цаконец, они установили связи с провинциальными кружками и отдельными лицами в Саратовской, Нижегородской, Смоленской, Калужской губерниях. С Петербургом вначале прямых контактов не было. Но при общности целей, единстве замыслов такие контакты были неизбежны. И они наладились в середине 1865 года.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПОД ОБЩИМ ЗНАМЕНЕМ

Он принадлежал душой и телом московскому кружку заговорщиков...

Г. А. Лопатин, Воспоминания с И. А. Худякове.

Все было внешне случайно и внутренне закономерно.

Ишутинцы вместе с калужскими деятелями А. А. Бибиковым и А. К. Маликовым задумали основать в Калужской губернии чугуноплавильный завод на началах ассоциации. Для этой цели, а также с жалобами на действия крупнейшего помещика-заводчика Калужской губернии С. И. Мальцева в Петербург отправились вместе с Бибиковым и Маликовым заводские рабочие В. Вьюшкин и Я. Дарочкин. В Москве они все побывали у Ишутина. Им требовалось рекомендательное письмо к какому-нибудь «хорошему» человеку в Петербурге, который оказал бы им содействие. В это время в Москве находился Елисеев. Он был знаком с кем-то из ишутинцев, видимо с Юрасовым, и дал письмо к Худякову. А через короткое время, в июне 1865 года, Худяков приехал в Москву. Здесь через Маликова и состоялось его знакомство с Ишутиным.

О чем шел между ними разговор, можно только догадываться по дальнейшим событиям и замыслам. Худяков утверждал на допросах, что приехал в Москву по делам издания своих книжек. Однако все они печатались в Петербурге. Говорил он и о том, что на этой встрече обсуждался вопрос об издании журнала «с социальным направлением» и что из этого ничего не вышло. Возможно, что и был такой замысел. Но не в нем была суть встречи Худякова с Ишутиным. Речь шла об объединении сил петербургского и московского подполья, и теперь уже не столько в целях пропагандистски просветительской деятельности (которая отнюдь не снималась с повестки дня), сколько для укрепления заговора.

Вскоре после возвращения Худякова в Петербург стало известно, что по делу Н. А. Серно-Соловьевича, три года томившегося в Петропавловской крепости, вынесен приговор и его вот-вот отправят в Сибирь через Москву. Худяков тут же направляет к Ишутину А.

Никольского для организации побега Серно-Соловьевича из пересыльной тюрьмы, подобного побегу Я. Домбровского, и, конечно, при содействии польского подполья в Москве. Однако этот замысел, для осуществления которого кое-что предпринималось, был заранее обречен на неудачу. Петербургские власти дали в Москву строжайшее предписание — к Серно-Соловьевичу никого не допускать и побыстрее отправить его дальше.

В июле в Петербург приехал Ишутин якобы по делам устройства чугуноплавильного завода в Калужской губернии. Но не это было главным: он привез деньги для поездки Худякова в Женеву, вопрос о которой, очевидно, был решен во время их первой, московской, встречи. Целью поездки было установить связи с русской политической эмиграцией. В Женеве в это время, кроме Герцена и Огарева, находились Н. И. Утин, М. К. Элпидин, А. А. Серно-Соловьевич и некоторые другие.

7 августа 1865 года Худяков вместе с женой отправился за границу якобы для лечения.

Из следственного дела известно, что еще до отъезда Худякова и во время пребывания в Петербурге Ишутин у Елисеева и с его участием обсуждался вопрос об устройстве побега Н. Г. Чернышевского из сибирской каторжной тюрьмы. Средства для осуществления этого замысла частично давал Елисеев, в основном же ишутинцы. Принять участие в сибирской экспедиции вызвался находившийся в это время в Петербурге А. К. Маликов, затем к нему решили присоединиться его сестра — Е. К. Оболенская и ее муж, упоминавшийся Л. Е. Оболенский. Этот замысел, обсужденный Ишутиным и его товарищами уже по возвращении в Москву, был принят с энтузиазмом. Предполагалось, освободив Чернышевского, переправить его за рубеж для издания социалистического журнала, который бы осуществлял идейное руководство движением. Необходимость разработки теоретических вопросов ощущалась в это время особенно остро. Сибирскую экспедицию должен был возглавить Н. П. Странден. Кроме того, намечалось отправить с ними полукрестьянина-полурабочего мальцевского завода в Калужской губернии Я. И. Дарочкина.

Роль и участие Худякова в этой экспедиции была весьма важной. Он снабдил Страндена письмами к своим друзьям-сибирякам и ссыльным полякам, просил их помочь побегу и ориентировать Страндена в незнакомой обстановке. Худяков достал Страндену подложный документ и передал ему письмо от петербургских представителей польского подполья к ссыльным полякам в Сибирь. Все это было обнаружено среди бумаг, изъятых у ишутинцев после ареста. Хотя подавляющее большинство компрометирующих бумаг (в том числе и программноуставных) ишутинцы

уничтожили после покушения 4 апреля, документы, необходимые для поездки Страндена, остались в шкатулке, спрятанной на чердаке их квартирной хозяйкой Н. Балгужниковой. Странден должен был выехать вскоре после покушения. Но поездка сорвалась — он был арестован.

Среди писем, переданных Худяковым Страндену, было одно написанное по-русски и неизвестно кому адресованное, за подписью «Иван Петров». Первые же его строки: «Любезный братец! После вчера одержал я, милый мой, твое письмо с большим нетерпением...», указывали на то, что подпись ложная и что автор письма поляк, не владеющий свободно русской речью. Письмо поэтому было в следственной комиссии проявлено, и тогда обнаружился совершенно другой текст, написанный по-польски. Датировано письмо было 27 января 1866 года. Внизу стояла подпись «Станислав»^{143}.

Кроме того, в шкатулке вместе с письмами хранилась записка с рядом имен, преимущественно ссыльных поляков, и указанием города, где кто из них находится. Видимо, письмо это должно было быть передано одному из поименованных в записке лиц.

Имя «Станислав» встречается в одном из донесений шпиона Трофимова. Он приводит следующие слова Худякова: «Меня при предварительном следствии спросили: «А вы были у Маевского с паном Станиславом?» Думаю, откуда это они узнали... и чуть было не сознался, а после оказалось, что они меня ловили»^{144}.

Эти два факта указывают на связи Худякова с польским подпольем, оставшиеся нераскрытыми благодаря стойкости Худякова и П. П. Маевского — руководителя московского польского подполья, также привлекавшегося по делу Каракозова. Лишь позже, когда осужденный уже Худяков приближался к месту своей ссылки, появились — некоторые новые сведения о его близости к польским революционерам. В это время в Томске шли допросы участника польского подпольного движения Г. Вашкевича. Показания его чрезвычайно путаны и темны, они требуют самого осторожного подхода. Но в них мы снова встречаем рядом имена «Станислава» и Худякова.

Г. Вашкевич, приговоренный к пожизненной каторге, в 1865 году бежал с пути из Сибири вместе с двумя другими польскими революционерами. Летом того же года он находился уже в Петербурге. Здесь, по его словам, существовало тайное общество, состоявшее из поляков и русских. Одним из его руководителей и был некий пан или барон Станислав. Подлинное его имя так и осталось нераскрытым.

Вашкевич рассказал и о своем знакомстве с Худяковым. Их познакомил участник тайного общества Ромуальд Загорский, которому тут же при встрече Худяков передал письмо для «Барона». На встречу с Загорским и Вашкевичем Худяков пришел не один. С ним вместе был человек «лет 24 или 25, роста высокого, брюнет, телосложения хорошего, имел эспаньолку и усы, носил очки» и приехал «из Москвы к Барону с каким-то поручением от тамошней организации»^{145}. По описаниям, это явно не Иштуин, но кто-то либо из его кружка, либо из польского подполья в Москве.

По словам Вашкевича, при первой же встрече с Худяковым тот расспрашивал его о сибирской организации поляков и на его уклончивые ответы заметил, что Вашкевич может говорить, не стесняясь, так как он, Худяков, «знает все дела означенной организации и находится в переписке с Иосифом Ямонтом в Восточной Сибири и с двумя сестрами Ямонт в Западной Сибири»^{146}. Имя Марии Ямонт значилось в записке с адресами, найденной в упомянутой шкатулке. Из другого показания Вашкевича ясно, что с Худяковым он виделся не однажды и «часто слышал в разговорах Загорского с Худяковым» имя Станислава^{147}. Встречи эти происходили летом, перед отъездом Худякова в Женеву.

Мы не располагаем другими свидетельствами, кроме показаний Вашкевича, о русско-польском тайном обществе в Петербурге. Этот вопрос требует специального изучения. Но самый рассказ Вашкевича не лишен интереса уже потому, что в нем есть некая переключка с тем, что известно о революционном подполье в Петербурге и Москве. «Поляки, — пишет Вашкевич, — соединились с русскими с целью, чтобы действовать общими силами заодно, но не против русского народа, а против правительства, с намерением уничтожить настоящий порядок управления. Вместо же его ввести конституцию и дать народу более прав и участия в делах правления. С этой целью они выбирали эмиссаров для распространения через них этих идей в народе в разных пунктах России и Сибири и для внушения народу, что правительство употребляет все меры к тому, чтобы народ оставался в состоянии невежества, так как этот народ, находясь в таком положении, не может понять своих человеческих прав. Этот же народ не понимает, что если поляки и русские революционеры предпринимали что-нибудь по настоящее время, то это было делом для его пользы. Поэтому теперь на обязанность этих эмиссаров возлагается просветить русский народ распространением между ним понятий о человеческих правах, подавленных деспотизмом. С этой целью эмиссары снабжались печатными

и писаными брошюрами, сочиненными в этом духе...»^{148} Общество это Вашкевич называет «Ад».

Все это очень напоминает содержание худяковских книжек для народа и их основную цель — раскрыть народным массам их бесправие и его виновников и перекликается с идеей ишутинцев о подготовке народа к революции, к ее поддержке, когда она будет совершена революционным меньшинством для пользы масс.

Другое, что обращает на себя внимание в показаниях Вашкевича, это наименование тайного общества. «Адом» с конца 1865 года стала называться наиболее законспирированная организация в многоступенчатой системе тайного общества ишутинцев. В то время когда следственной комиссии это стало известно, Вашкевич уже несколько месяцев находился в тюрьме и поэтому не мог просто перенести название Ишутинской организации на петербургское русско-польское тайное общество. Это наводит на мысль, не воспользовались ли ишутинцы наименованием, уже существовавшим в Петербурге.

Исследователи русско-польских революционных связей Н. П. Митина и Т. Ф. Федосова, в руках у которых побывали десятки тысяч листов архивных документов, считают, что в них содержится достаточно данных, чтобы «говорить о существовании организаций, взявших курс на восстание к весне 1866 года»^{149}. Попытка такого восстания была сделана польскими ссыльными на строительстве Кругобайкальской дороги. В ней принимал деятельнейшее участие и прибывший в Восточную Сибирь Н. А. Серно-Соловьевич.

Вводил ли Худяков Ишутина в круги польских революционеров — этого мы не знаем. Документально устанавливается, однако, что он познакомил Ишутина с А. Никольским и с некоторыми другими лицами в Петербурге. Именно там летом 1865 года Худяков направил Ишутина к инженерным офицерам С. Палашковскому (связанному с польским подпольем) и П. В. Михайлову. Но это стало известно через год после следствия по делу 4 апреля. Палашковский вскоре после отъезда Худякова в Женеву также ездил туда от какого-то петербургского кружка для установления связей. П. В. Михайлов больше известен своей просветительной деятельностью — школой, швейной мастерской и т. д. Он же составлял проект и смету для устройства чугуноплавильного завода в Калужской губернии. Степень его участия в подпольных конспирациях осталась нераскрытой. Но по утверждению В. Н. Черкезова Михайлов был одним из ближайших к Худякову лиц в Петербурге^{150}.

С именем Михайлова связано одно петербургское предприятие, которое выглядит как легальное прикрытие подпольной организации, — «Издательская артель», основанная осенью 1865 года. Большинство вошедших в нее лиц — бывшие землевольцы или люди, причастные к различным тайным замыслам революционного подполья, — И. А. Рождественский, А. Д. Путята, Г. З. Елисеев, А. А. Штукенберг и др. Доступ в «Издательскую артель» был затруднен высокими взносами: 30 рублей вступительного и 1000 рублей паевого. Однако фактические взносы были мелкими. Собрания артели происходили в читальном зале при книжном магазине В. В. Яковлева, пользовавшемся, и не без основания, славой «нигилистического». Они устраивались в ночное время, продолжаясь до трех-четырёх часов утра. Состав членов артели привлекал к себе внимание не только своей «неблагонадежностью», но и тем, что здесь были лица, никакого отношения к литературе и публицистике не имевшие: тот же П. В. Михайлов, врач второго сухопутного госпиталя А. А. Кобылин, с которым мы еще встретимся, и некоторые другие. Худяков в ней не значился. Но он в это время находился уже в Швейцарии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ В КРАЯХ ЭМИГРАНТСКИХ

В воспоминаниях Худякова есть такая глава — «За границей». Но пусть не пытается читатель найти в ней рассказ о тех трех с половиной месяцах, которые пробыл автор за рубежом. В этой главе сообщается, каким преследованиям подверглась книга Худякова «Самоучитель» со стороны петербургской цензуры во время отсутствия автора, как тяготила его жена своими капризами и ссорами с друзьями и знакомыми, как уговаривали его не возвращаться в Россию из-за угрозы ареста. О главном же — зачем он поехал, с кем встречался и что делал в Женеве (и только ли в Женеве?) — Худяков умолчал. Единственная фраза о зарубежных впечатлениях, прорвавшаяся в воспоминаниях, была такой: «Между тем апатичная бездеятельность заднего двора сердила меня»^{151}. Под «задним двором» подразумевалась русская политическая эмиграция.

О том, с кем встречался в Женеве Худяков, мы узнаем из других источников — из переписки Герцена, некоторых показаний на следствии, разговоров с Трофимовым и из бессвязных записей Худякова, когда он уже страдал тяжелым психическим недугом.

Главной фигурой в эмигрантской Женеве был, разумеется, Герцен. Однако русская политическая эмиграция не была чем-то единым, напротив того, все больше углублялись разногласия и личная неприязнь между Герценом и «молодой эмиграцией». Худяков посещал Герцена, подарил ему свой «Самоучитель». Из письма Герцена мы узнаем дату выезда Худякова из Женевы. Частым гостем в доме Герцена была Леонилла, остававшаяся в Женеве еще месяца два после отъезда Худякова.

Однако у Герцена Худяков не нашел ответа на волновавшие его вопросы. Трофимов в своем донесении писал: «...Герцена Худяков считает либералом сороковых годов»^{152}. Относительно более чем сдержанных отзывов Худякова о Герцене говорили на следствии и некоторые его товарищи. Мы не знаем, насколько откровенен был Худяков с Герценом и признавался ли он ему в своих замыслах, но догадываемся, что идее заговора Герцен не мог сочувствовать.

Иначе обстояло дело с Огаревым. Тот же Трофимов сообщал со слов Худякова, что эмигранты «принимали деятельное участие в событиях, бывших в Петербурге» и будто Худяков называл при этом Огарева

«главным деятелем»^{153}. В таком толковании слов Худякова есть несомненное преувеличение. Но самая склонность Огарева к заговорам, к конспирации могла служить почвой для более близких отношений его с Худяковым, В записях Худякова, в которых бред душевнобольного перемешан с какими-то действительными воспоминаниями, говорится: «Дворянин Н. Огарев, автор многих стихотворений, сотрудник «Колокола», живший в одной квартире с Александром Ивановичем Герценом много раз в России, Англии и Швейцарии, был родственник и друг последнего; с ним я видался по крайней мере раз пятнадцать...»^{154}

Встречался Худяков в Женеве и с Н. И. Утиным, которого знал по Петербургу, и с М. К. Элпидиным, о чем есть несколько свидетельств. В упоминавшихся полубредовых записях Худякова вместе с этими попадались и некоторые другие имена политических эмигрантов — Л. И. Мечникова, В. И. Касаткина, Н. Я. Николадзе. По предположению М. М. Клевенского, это застрявшие в мозгу больного человека воспоминания о личных встречах. Среди этих имен нет имени А. А. Серно-Соловьевича, и это подкрепляет догадку Клевенского. Дело в том, что в те месяцы, когда Худяков был в Женеве, А. А. Серно-Соловьевич лечился в психиатрической больнице и Худяков видеться с ним не мог.

Было бы очень важно выяснить, выезжал ли Худяков из Женевы, в частности в Италию, где в это время находился М. А. Бакунин. Но этими сведениями мы, увы, не располагаем: архивы Бакунина находятся за рубежом. Упоминание его имени в связи с женевской поездкой Худякова встречается в показаниях Ц. В. Ведерникова и А. М. Никольского, но они настолько глухи, что не могут служить опорой для вывода о встрече Худякова с Бакуниным. По словам Ведерникова, Худяков рассказывал, что Бакунин «живёт в Италии, занимаясь там живописью»^{155}.

Приезд Худякова в Женеву дал известный заряд деятельности политических эмигрантов, почти утративших контакты с революционным подпольем в России. По свидетельству Н. Я. Николадзе, с приездом Худякова было связано устройство русской типографии в Женеве — типографии М. К. Элпидина. По другим данным, благодаря Худякову Элпидин стал издавать журнал «Подпольное слово», два выпуска которого вышли в 1866 году^{156}. Дал ли он средства на оба эти предприятия или же только подсказал самую мысль, мы не знаем. Деньги у Худякова были: кроме врученных Ишутиным, он располагал тысячью рублей, подаренных Леонилле к свадьбе, которые она пожертвовала для общественных дел и которые, как писал Худяков, он издержал «на чужие нужды»^{157}.

После смерти Худякова в эмигрантской газете «Общее дело» был опубликован его небольшой мемуарный очерк о цензуре, в котором рассказывались его собственные цензурные мытарства^{158}. В 1901 году этот очерк М. К. Элпидин переиздал отдельно книгой под заглавием «Отец Макарий в пьяном и трезвом виде». В «Опыте автобиографии» имеется лишь весьма сжатый рассказ о том, что подробно описано в этом очерке. Он, должно быть, писался в Женеве и, возможно, для будущего «Подпольного слова».

Лопатин в своих воспоминаниях сообщает: «Если не ошибаюсь, перу того же Худякова принадлежала и маленькая заграничная брошюрка, украшенная крестом и озаглавленная «Слово св. Игнатия» или просто «Св. Игнатий». Это был сборник священных текстов (с точным указанием на цитируемые места), говорящих против царей, властей, господ, богачей и всех современных зверских порядков»^{159}. Речь шла о брошюре «Для истинных христиан. Сочинение Игнатия», выпущенной в Женеве в 1865 году, то есть, возможно, в то время, когда там находился Худяков. На этом ли основании или по другим сведениям «безоговорочно приписывает эту брошюру Худякову сибирский публицист Белозерский, человек (как мы увидим далее), близко стоявший к Г. Н. Потанину и Н. М. Ядринцеву и весьма осведомленный о многих фактах биографии Худякова и его рукописного наследства. Несомненным автором брошюры считал Худякова и М. М. Клевенский, сославшийся дополнительно на слова Худякова в письме из Женевы к родителям: «Я пишу кое-что...»^{160} Поддержал это мнение и Л. Н. Пушкарёв, отметивший общность высказанных в брошюре идей с мыслями, отраженными в других работах Худякова^{161}.

Брошюра «Для истинных христиан» вопреки своему названию — атеистическая книжка, отвергающая церковные догмы (посты, поклонение иконам и мощам), оправдывающая ереси («...часто называют еретиками людей, говорящих истину»), проводящая идеи демократии (начальники — слуги народа) и крестьянского социализма, идеи общественной собственности, разделяемой в соответствии с нуждами каждого. Все это изложено в форме проповеди, опирающейся на священное писание. Между прочим, Трофимов в своем донесении особо отмечал, что «Худяков хорошо знает св. писание, особенно Ветхий завет» и на его, Трофимова, вопрос, откуда у него, закоренелого материалиста, отрицающего бытие бога, такие знания, отвечал, что изучал священное писание как исторический источник^{162}. Это свидетельство может служить дополнительным, хотя и косвенным, доводом в пользу мнения об авторстве Худякова.

Три экземпляра этой брошюры были в 1866 году найдены на Соборной площади в Саратове^{163}. Ишутинец Д. Л. Иванов показывал, что видел ее у Моткова, который говорил, что отпечатана она в Женеве и написана, должно быть, В. И. Кельсиевым. Один из позднейших участников Ишутинской «Организации» Ф. П. Лапкин, сообщал, что эта брошюра была у бельского мещанина А. Иванова и что Иванов утверждал, будто она печаталась в России и ее издателем был «какой-то Елисеев, писавший в «Современнике» статьи под псевдонимом «Грицко». При обыске у юнкера Александровского военного училища в Москве Н. Овсяного, причастного к ишутинцам, было найдено 120 экземпляров литографированного креста с надписью «Для истинных христиан», которые ему якобы передал также причастный к делам ишутинцев прапорщик В. М. Алексеев^{164}. Это наводит на мысль, что Худяков (а может быть, Леонилла) привез брошюру в небольшом количестве экземпляров с расчетом размножить ее в России литографическим способом.

Но главным итогом поездки Худякова явились не его литературные труды, а нечто более серьезное и важное, оказавшее решающее влияние на дальнейшие планы революционного подполья в России.

17 ноября, оставив в Швейцарии жену, Худяков выехал в Петербург и по приезде, по отметив даже паспорта в полиции, немедленно отправился в Москву для сообщения ишутинцам важного известия: за границей создан тайный европейский заговорщический центр, имеющий свою агентуру в виде национальных организаций во многих странах и замышляющий революцию как всеевропейскую акцию. В следственных материалах этот центр назывался Европейский революционный комитет.

Исследователи долгое время считали, что речь шла о Международном товариществе рабочих, созданном К. Марксом. М. М. Клевенский, посвятивший особую статью вопросу о Европейском комитете, пришел к выводу, что сведения о реальном факте — I Интернационале, — сообщенные Худяковым, Ишутин, склонный к мистификациям, расцвел собственными фантастическими домыслами и превратил в тайный заговорщический центр. Однако донесения Трофимова показывают, что то, что Клевенский считал ишутинской мистификацией, исходило от самого Худякова. Не доверять Трофимову в данном случае нет никаких оснований: он не был знаком со следственным делом и не знал «домыслов» Ишутина и других, которые давали показания о Европейском комитете, а между тем рассказал почти то же самое, что и они.

В одной из первых записей, излагающих разговоры с Худяковым,

Трофимов отметил, что Худяков «Петербург считает отделением Европейского революционного комитета»^{165}. Затем в «Дополнении», обобщающем и уточняющем ряд бесед с Худяковым, он сообщал: «Худяков ездил за границу к Герцену и виделся там с членами Европейского комитета. У него найдены при обыске фотографические карточки членов революционного комитета. Но ни одного не выдал»^{166}. К сожалению, все так называемые вещественные доказательства, принадлежавшие главным участникам каракозовского процесса, переданные в Петербургскую управу благочиния, безвозвратно погибли при пожаре. Поэтому нет возможности проверить, кто был изображен на фотографиях, изъятых у Худякова.

Заметим, что непосредственно за сообщением о Европейском комитете в донесении Трофимова следует высказывание Худякова о неизбежности повторения покушения на Александра II. О том, что это не случайное соседство двух обособленных фактов, может свидетельствовать другое донесение Трофимова, писавшееся через год. В нем сообщается о разговоре с Худяковым по поводу покушения А. И. Березовского на Александра II. Осведомитель пишет: «Березовский, как уверяет Худяков, действовал не лично от себя, а в целях Парижского революционного комитета. Эти комитеты во всех европейских государствах очень сильны; в России же, по мнению Худякова, которое он высказывает с большою уверенностью, как подавленные в самом начале, в настоящее время по существу, да и составление их не только бесполезно, но даже вредно... Доказательством тому представил случайное открытие заговорщиков 4 апреля»^{167}. Здесь важно не то, насколько справедливо мнение Худякова о покушении Березовского, но его уверенность в том, что Березовский стрелял по заданию одного из комитетов, представлявшего собой ответвление Европейского революционного комитета.

Характерно, что Худяков, говоря о революции как об общеевропейском акте, тоже исходил из представления о существовании международного центра. «Если в Петербурге вспыхнет революция, — утверждает Худяков, — то ни один государь в Европе не усидит на троне. Варшава отделится; Познань и Галиция тоже, это поведет за собой революцию в Австрии и Пруссии; другие державы не отстанут, все это так подготавливается»^{168}.

Таким образом, мы видим, что известие о Европейском революционном комитете как общеевропейском центре, объединяющем национальные комитеты и ставящем своей целью насильственные перевороты вплоть до цареубийства, шло от Худякова. Не исключена, конечно, возможность, что Иштуин приукрасил это сообщение домыслами

о «гремучей ртути» и «орсиниевских» бомбах, которые якобы Европейский комитет рассылал по национальным комитетам.

Но такое представление о Европейском революционном комитете никак не вяжется с I Интернационалом. К тому же, когда Худяков приехал в Женеву, никто из русских не входил в Женевскую секцию Ипторнационала, организованную на рубеже 1864–1865 годов и нет никаких указаний на то, что кто-либо из политических эмигрантов был с нею как-то связан. Женевская секция существовала вполне легально и не была тайной организацией заговорщического типа. Тот факт, что Худяков имел фотографии членов Европейского революционного комитета, но никого из них не выдал, также свидетельствует о том, что речь не могла идти о Женевской секции.

Под Европейским революционным комитетом подразумевался не I Интернационал, а «Интернациональное братство» М. А. Бакунина, проект создания которого он разрабатывал еще с конца 1863 года.

Рассказ Бакунина об этом периоде своей деятельности передает в своих воспоминаниях З. Ралли, его большой приверженец. «В 1864 году, — пишет он, — когда М. А. (Бакунин. — Э. В.) покинул Лондон и переселился в Италию, заветной его мыслью стало основание тайного интернационального общества, которое соединило бы в один стройный союз всех борющихся за действительное политическое и социальное освобождение человечества... Организовать такой союз из революционных элементов всех наций, взаимно поддерживающих и помогающих друг другу, впервые попробовал Бакунин в Италии, в бытность свою в Тоскане, первая же серьезная попытка была совершена в Неаполе... «Тогда-то я и написал первый мой проект статуты для Интернационального братства, — заявлял нам Бакунин и прибавлял при этом всегда: — первыми братьями этого общества были итальянцы, потом испанцы и, наконец, французы и русские»^{169}. В числе последних имелись в виду и польские демократы Я. Загорский и В. Мрочковский, бывший киевский студент, участник польского восстания, и кн. З. С. Оболенская, вышедшая замуж за Мрочковского.

В Неаполь Бакунин переехал в начале октября 1865 года, то есть во второй половине сентября по старому стилю. Это было в то время, когда Худяков находился в Женеве. Неапольский период жизни Бакунина так описан Г. Вырубовым, проживавшим за границей, тесно общавшимся с Герценом и вообще с русскими политическими эмигрантами: «Бакунин действовал, направляя людей, как он говорил, на путь истинный, основывал тайные общества, организовал заговоры, вырабатывал планы

революций». По словам Вырубова, Бакунин и его ознакомил со статутами «обширного тайного общества, учреждавшего свои филиалы во всех странах мира. Оно представлялось в виде федеративной лаборатории всемирной социальной революции. Тут были и теоретические соображения в форме разнообразных вариаций на старую тему: «свобода, равенство, братство, справедливость» — и в мельчайших подробностях практическая организация центральной власти и отдельных кружков, члены которых должны были, между прочим, приносить присягу на кинжалах»^{170}.

Основные программные документы «Интернационального братства» — «Организация» и «Революционный катехизис» — близки по целому ряду пунктов к идейным и организационным основам ишутинского тайного общества, реорганизованного в конце 1865 года.

На основе привезенных Худяковым сведений была продумана новая многоступенчатая структура этого общества. Его наиболее широкой основой должна была служить легальная или полуполитическая организация, состоящая из людей еще не подготовленных для подпольной деятельности, — «Общество взаимного вспомоществования», «Переводчиков и переводчиц» или «Помощи женскому труду» и т. д. В какую из форм оно выльется — не имело значения. Такое общество и начало создаваться в конце декабря 1865 года. Внутри этой организации скрывалось тайное общество, значительно более узкое, состоявшее как из основного ядра ишутинцев, так и из некоторых лиц, привлеченных ими ранее, а также и в момент реорганизации. Новыми людьми были представители из кружка «саратовцев» и «малининцы». Они сравнительно недавно прибыли в Москву, и многие из них были слушателями только что основанной Петровской земледельческой академии. Это общество на следствии и в литературе получило название «Организация». Наконец, внутри «Организации» скрывалось еще более законспирированное со своими особыми задачами общество, состоявшее из старого основного ядра Ишутинского кружка, — «Ад».

На протяжении первых месяцев 1866 года созывались частые сходки каждой из организаций и рассматривались проекты устава и программы. Все эти проекты (а их было несколько, и по словам П. Ф. Николаева, какие-то из них были приняты) уничтожили после покушения Каракозова и начавшихся в Москве арестов. Однако из показаний на следствии вырисовывается такая картина.

Легальное общество должно было проводить пропагандистскую и просветительную работу, а кроме того, служило источником, откуда могла пополняться «Организация». Последняя ставила перед собой задачу

свержения самодержавия любыми средствами, вплоть до террористических актов, и установление народовластия в виде федерации областей, наделенных широкими автономными правами и объединяемых центральной властью. Основной ячейкой областных автономий являлись общины, коллективно владевшие землей и средствами производства.

Намечалось создание разветвленной сети тайных обществ в провинции для проведения той же пропагандистски просветительной работы. С этой целью члены «Организации» предполагали разъехаться по губернским центрам, чтобы основать там местные организации. Эти задачи очень напоминают то, о чем рассказывал в своих показаниях Г. Вашкевич.

Функции «Ада» были прежде всего контрольными. Кроме того, на них должно было пасть осуществление акта цареубийства.

«Организация» рассматривала себя как ветвь Европейского революционного комитета, то есть бакунинского «Интернационального братства». Последнее приняло в глазах Худякова и его московских единомышленников такие масштабы, каких никогда не имело. Но Бакунин умел внушать представление о крупном размахе своих замыслов и деятельности. И сам ли Худяков с ним встречался или узнал об «Интернациональном братстве» через других, например М. К. Элпидина или Н. И. Утина, бывших в это время горячими поклонниками Бакунина, но и в том и в другом случае он уверовал в подлинную силу этой организации.

После возвращения Худякова из-за границы его связь с ишутинцами стала неразрывной. С ним согласовывались структура и программа тайного общества. Для личных контактов был выделен О. А. Мотков. Переписка велась через В. Н. Черкезова. Поездки ишутинцев и самого Ишутина в Петербург стали почти непрерывными.

Новый размах получила и деятельность петербургского подполья. Ее важнейшие факты и детали остались не раскрытыми следственной комиссией и не выявлены исследователями. Но по некоторым письмам, захваченным во время обысков, видно, что эта деятельность сильно активизировалась и требовала денежных средств. Письма эти были захвачены у Автонома Фортакова. Одно из них было из Астрахани от его брата Андрея и датировано 31 марта 1866 года. «Скажи Никольскому, — говорилось в нем, — что при всем моем уважении как к нему, так и делу я не мог найти денег ни под вексель, ни по до что; я же не мог дослать своих Потому, что в сборе их нет. Пускай он мне напишет, сколько ему нужно, я, может быть, как-нибудь перевернусь».

Другое письмо было от А. Никольского к Андрею Фортакову от 3

апреля 1866 года. Его должен был отвезти в Астрахань Автоном Фортаков. В письме этом сообщалось: «Андрей Иваныч! Получил от Вас деньги. А я уже их ждал, ждал. Но на то, на что я их просил, была крайняя нужда. Я уже отдал свои, как только прислали из дома. Более 100 руб. отправил, так что теперь пока там есть. Теперь там вчера говорили, что нужно усилить работу. Из Ваших я взял только 50 руб. сер., остальные пока оставил у Вашего брата. Туда же пошлю теперь свои, а там и Ваши...»^{171} На следствии ни Никольский, ни Фортаковы не раскрыли, что такое «там» или «туда» и для чего нужны были деньги; придумывая всякие рассказы то о покупке микроскопа, то о деньгах для издания уже изданного А. Никольским перевода книги Р. Оуэна. Самый факт таких уловок указывает на то, что назначение их было сугубо конспиративное.

В воспоминаниях Худякова есть немало намеков на острую нужду в деньгах в этот момент.

Очень важным является свидетельство Г. А. Лопатина об этих первых месяцах 1866 года. Лопатин познакомился с Худяковым не ранее конца ноября — начала декабря 1865 года. Худякову он казался человеком, привлечение которого в общество потребует времени и усилий (так говорил Лопатину сам Худяков). Между тем в это время, по словам Лопатина, «заговорщики считали дело близким к развязке, к началу конца, а потому хлопотали о практических частностях и считали неблагоприятным тратить драгоценные минуты на вербовку таких личностей...»^{172} Хотя Лопатин и не участвовал в заговоре, его осведомленность о нем не оставляет сомнений: ведь именно его оставил Худяков своим конспиративным душеприказчиком, поручив ему «временное ведение обезлюженного дела».

Говоря о заговорщиках, Лопатин имел в виду, конечно, и петербуржцев во главе с Худяковым, и москвичей-ищутинцев. Но в каком отношении этот заговор находился к покушению Каракозова? Попробуем разобраться в массе самых противоречивых свидетельств на этот счет.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПОКУШЕНИЕ

...Если бы у меня было его жизнью, а не одна и если бы народ потребовал, чтобы я все сто, жизнью принес в жертву народному благу, клянусь, государь, всем, Что только есть святого, что я ни минуты не поколебался бы принести такую жертву.

Из письма Каракозова Александру II («Красный архив», 1929, т. II (XXXIII), стр. 214.)

4 апреля 1866 года столица Российской империи была взбудоражена необычайным происшествием. На набережной Невы у ворот Летнего сада неизвестный молодой человек стрелял в царя-«освободителя» — Александра II. Это был Каракозов. Случайный толчок в руку — и пуля пролетела мимо. Царь остался невредим, покушавшийся был схвачен.

«— Дурачье! Ведь я для вас же, — сказал он. — А вы не понимаете.

— Ты поляк? — спросил его государь.

— Нет, чистый русский...

— Почему же ты стрелял в меня?

— Потому что ты обещал народу землю, да не дал».

Неизвестного отвезли в III отделение собственной его императорского величества канцелярии, выполнявшей функции политического сыска. «Спасителем» царя был объявлен стоявший рядом с покушавшимся костромской крестьянин, промышлявший картузным делом, Осип Иванович Комиссаров.

В церквах торжественно звонили колокола. Дворянская и обывательская Россия возносила благодарственные молебны. Комиссаров стал героем дня. Царь даровал ему дворянство. Шли непрерывные празднества во славу «спасенного» и «спасителя». «Взрыв верноподданнических чувств, последовавших за покушением, не поддается никакому описанию, — рассказывал один из современников. — Целый почти месяц шли повсюду нескончаемые манифестации, в которых

принимала участие и широкая публика»^{173}.

Распространялись слухи о польском заговоре, о нерусском происхождении «преступника»; разжигалась новая волна шовинистического угара.

А над другой Россией — Россией «мыслящих пролетариев» и «новых людей», проповедников свободы и ненавистников произвола, над подпольной революционной Россией, слабой и малочисленной, нависла черная туча. Шли обыски и аресты. Хватали на: всякий случай всех «политически неблагонадежных» писателей, журналистов, студентов... Началось следствие по делу о покушении Д. В. Каракозова на жизнь его императорского величества...

Замысел Каракозова совершить покушение на жизнь Александра II был, несомненно, связан с обсуждением вопроса о цареубийстве на сходках «Организации» и «Ада». Ни следственная комиссия, ни верховный уголовный суд не смогли установить, причастны ли были к осуществлению этого замысла ближайшие товарищи Каракозова. В судебном приговоре только одному Ишутину вменялось в вину «незаявление» «о известном ему преступном намерении Каракозова». Вопрос этот оставался загадочным и для исследователей.

Собственно, здесь не один, а два вопроса: знали ли ишутинцы, то есть основное ядро кружка, и Худяков о готовящемся покушении? И если знали, то поддерживали или нет замысел Каракозова?

Верховный уголовный суд обвинил «в недонесении об известных им преступных замыслах», кроме Ишутина, также и Ермолова, Страндена и Юрасова и не приговорил их к смертной казни потому, что они противодействовали Каракозову^{174}.

Это совпадает с тем, что писал в «Опыте автобиографии» Худяков: «Как известно, товарищи просили его не совершать до времени покушения... Он, однако, не послушался их...»^{175} Выходит, что ишутинцы знали о готовящемся покушении, но были его противниками, правда, не в принципе, а лишь «до времени». Если верить показаниям, они намечали революцию примерно на 1869 год и к ней приурочивали покушение. Таким же, по свидетельству Трофимова, было отношение к покушению и Худякова. «Поступок Каракозова, — пишет он, — считает преждевременным...»^{176} Но Худяков также не был принципиальным противником цареубийства. Возражая Трофимову на его слова, что «всякое убийство само по себе преступление, не оправдывающееся никакими целями», Худяков говорил, что в данном случае оно «извинительно и

необходимо», так как «государи и их фамилии не так легко откажутся от своей власти» и во избежание кровопролитий, «лучше пожертвовать жизнью нескольких царственных особ»^{177}.

Есть и другие данные, указывающие на то, что Каракозова убеждали отказаться от покушения и даже вынудили к небольшой отсрочке. Но он был непреклонен, и ему не только не стали мешать, но оказали помощь. В частности, Худяков.

Чтобы понять, в чем тут дело, необходимо установить последовательность событий.

В двадцатых числах февраля 1866 года Каракозов внезапно исчез из Москвы и тайно от ишутинцев (по официальной версии) отправился в Петербург. Еще до этого, по свидетельству Ермолова, он «стал высказывать желание сделать покушение» на царя, «считая это дело полезным, как возбуждающее страх и волнение в народе», и заметив, что «чем скорее он это сделает, тем лучше»^{178}. Таким образом, своим замыслом он в самой общей форме поделился с друзьями.

По приезде в Петербург (не позже 26 февраля) Каракозов сразу же явился к Худякову. Худяков так описывает его приход: «...Через несколько времени после отъезда Ишутина из Петербурга в Москву ко мне явилось от его имени опять новое лицо, но без письма... Это особенно заинтересовало меня; разговор его показывал, что ему хорошо известны дела Ишутина; манеры и фигура не имели никакого сходства с шпионскими. А между тем он все-таки был без рекомендации... Вещь весьма странная. Это был Каракозов.

На другой день я поехал в Москву»^{179}.

Тот факт, что Каракозов не имел рекомендательного письма, подтверждает, что он действительно не получил поддержки у своих товарищей и, видимо, скрыл от них свой отъезд в Петербург. Немедленная поездка Худякова в Москву наводит на мысль, что разговор с Каракозовым был выдающимся по своей важности и Худякову в связи с этим потребовалась встреча с ишутинцами.

По другой версии, Худяков отправился в Москву, вызванный срочным письмом Ишутина. И если это так, то, надо думать, что Ишутину были известны планы Каракозова.

На допросах все ишутинцы утверждали, что только от Худякова узнали, что Каракозов в Петербурге, и решили его вернуть в Москву. Для этой цели в Петербург срочно послали Ермолова и Страндена. Хотел с ними ехать и Ишутин, но остальные, очевидно, не случайно, были против

этого и обманным путем задержали его в Москве.

В Петербурге Ермолов и Странден разыскивали Каракозова по всем местам, где имел обыкновение гулять царь. Но лишь на третий или четвертый день якобы случайно встретились с ним на Дворцовой площади, причем не они его, а он их заметил и окликнул.

Тут начинается нечто не совсем понятное. Казалось бы, что человек, действовавший наперекор своим товарищам и потому тайно от них уехавший, должен был потихоньку скрыться и при случайной уличной встрече с ними. А Каракозов вместо этого сам подошел к Ермолову и Страндену. Не кажется ли более правдоподобным, что это была заранее через Худякова назначенная встреча и что, будучи в Москве, Худяков обсуждал с ищутинцами целесообразность задуманного Каракозовым? Не будем пока что спешить с ответом. Последуем дальше за фактами.

Еще до встречи с Ермоловым и Странденом на Дворцовой площади Каракозов завел в Петербурге новое знакомство — с врачом второго сухопутного госпиталя А. А. Кобылиным. На следствии это знакомство изображалось сначала как случайное. Каракозов, мол, пришел в госпиталь с жалобой на здоровье, и Кобылин, молодой ординатор, заинтересованный в практике, принял его, хотя часы приема уже прошли, назначил курс электризации и сам стал его проводить.

Это объяснение лишено всякой логики: зачем человеку, поставившему на карту собственную жизнь, перед самой смертью начинать лечение от малокровия, катара желудка?

Деловые отношения между врачом и «больным» становились все более короткими. Каракозов, проживавший в Петербурге без паспорта под фамилией Владимирова, стал бывать у Кобылина на дому, а затем несколько раз ночевал у него. Между ними завязались и разговоры политического характера. От Кобылина Каракозов узнал о существовании в Петербурге конституционной (не социалистической) партии, или, как ее еще иначе называли, константиновской. Партия эта хотела устроить переворот и была заинтересована в царевубийстве. С представителями этой партии — А. Д. Путягой и А. И. Европеусом — Кобылин и свел Каракозова. Такова официальная версия, которой придерживался Каракозов, но которую отвергал Кобылин.

Впервые Каракозов был у Кобылина в госпитале 7 марта. И не позже чем через день-другой рассказал Ермолову и Страндену, что «познакомился с некоторыми медиками» и что эти медики отчасти высказались за покушение. «Он говорил, — показывал Ермолов, — что у них большая партия конституционная»^[180]. Следовательно, разговор, и притом весьма

откровенный, был на первой же встрече Каракозова с Кобылиным. Но в таком случае и встреча не могла быть случайной. Кто-то должен был направить Каракозова к Кобылину, и под видом лечения это знакомство и произошло.

Ермолов и Странден, однако, убеждали Каракозова отказаться от своего замысла и вернуться в Москву. Он якобы им обещал выехать вслед за ними, но обещания не исполнил.

Как раз в то время, когда Ермолов и Странден находились в Петербурге, Каракозов писал и размножал от руки свою прокламацию «Друзьям-рабочим», которая должна была объяснить народу смысл его покушения. В скольких экземплярах она была написана, мы не знаем: на одном из найденных при Каракозове в момент покушения стояла цифра 86. Обнаружено же было следственной комиссией всего четыре экземпляра — два в кармане у Каракозова, один на Путиловском заводе и один был прислан неизвестным лицом (студентом) в канцелярию петербургского генерал-губернатора. На конверте, в котором находился этот последний экземпляр, значилось: «Вскрыть через неделю. 13 марта — 20 марта». На конверте же с прокламацией, отобранной при задержании Каракозова, — дата вскрытия была поставлена другая — 5 апреля, то есть на следующий день после покушения. Из этого можно заключить, что первоначально покушение намечалось на 19 марта. Возможно, что приезд Ермолова и Страндена помешал осуществлению этого первоначального намерения.

Вскоре после отъезда Ермолова и Страндена — примерно 12–13 марта — Каракозов отправил какое-то письмо на имя Ермолова. По словам последнего, в письме шла речь о присылке паспорта — подложного «вида на жительство», чтобы в случае неудачи покушения замести все следы. Однако паспорт прислан не был, и; возможно, в ожидании его Каракозов и отложил покушение.

21 марта он получил письмо от Ишутина. В нем говорилось: «Милый друг. Приезжай в Москву, тебя очень нужно. Поговорим обстоятельнее, потом, если сочтешь нужным, опять отправишься»^{181}. Письмо это было найдено в номере Знаменской гостиницы, где Каракозов провел последние дни перед покушением. Оно было разорвано на мелкие клочки. 25 марта Каракозов выехал в Москву, поставив предварительно в известность Худякова, который 23 марта принес ему деньги на квартиру Кобылина.

В Москве Каракозов снова рассказал своим товарищам, что через ординатора второго сухопутного госпиталя «сошелся с конституционной партией, и что эта партия желает смерти государя, и, воспользовавшись молодостью и неопытностью наследника, (хочет) возвести на престол

Константина Николаевича», и, наконец, что «ему, Каракозову, делали предложение принять на себя труд убить государя»^{182}. Так писал Ишутин в письме председателю следственной комиссии весной 1867 года, то есть тогда, когда эти показания не могли никому уже принести вреда.

По словам Ишутина, вопрос о контакте с конституционной партией обсуждался очень горячо, было много противников такой связи, и он лично якобы «выражал сильное отвращение к ним и к мерам их» и убеждал Каракозова бросить эту мысль^{183}.

Можно вполне поверить Ишутину, что такие споры действительно были. Уже в то время многие социалисты считали — и это в известной мере выразил еще Герцен, — что один политический переворот без социалистического ничего не приносит народным массам. Более того, он ставит их в худшее положение, так как способствует развитию капитализма. Идея же одновременного политического и социалистического переворота, по их мысли, соответствовала интересам народных масс, предотвращая капитализм.

Но можно ли вообще доверять всем тем показаниям, в которых говорилось о рассказах Каракозова относительно своего знакомства с представителями конституционной партии? Не было ли это выдумкой, имевшей своей целью перенести ответственность за покушение на неведомых лиц? Ведь даже такой авторитетный исследователь, как М. М. Клевенский, считал, что «константиновская партия», «будто бы подбивавшая Каракозова к убийству Александра II, в действительности является чистым вымыслом»^{184}.

Существует документ, который отнюдь не предназначался для следствия и оказался в комиссии только из-за небрежности Каракозова. Это его письмо к товарищам, написанное после возвращения из Москвы в Петербург перед самым покушением. В нем-то как раз и шла речь о конституционной партии и покушении. При этом надо иметь в виду, что в отличие от Ишутина Каракозов был человеком, чуждым всяких мистификаций.

В этом письме Каракозов упрекал Ишутина за то, что он не помог ему с паспортом. «Ты ведь очень хорошо понимал, как мне нужна эта вещь для того, чтобы выгоднее обставить дело, и время потеряно на совершенно ненужную поездку; которая не принесла результата»^{185}. Затем он снова сообщал о своей связи с конституционной партией и о том, что она готовит переворот. «Ты знаешь, что знакомые мои, о которых я тебе говорил, предполагают начать дело очень скоро...» Однако Каракозов также считал,

что политический переворот без социалистического не может быть целью «народной партии». «...Это дело не наше, — продолжал он, — путь наш совершенно иной, и мы не сходимся не только в средствах, но и в самой цели». Вместе с тем он опасался, что если конституционалисты выступят одни, то «народная партия», не располагающая достаточными денежными средствами и разветвленной по всей стране тайной организацией, окажется в трудном положении. «Ты понимаешь, что если произойдет такой афронт, то ведь один черт на дьяволе, и К. может, тем или другим способом может себе обеспечить спокойное и безмятежное состояние. То есть результаты были бы другие, если бы у нас было бы побольше денег, да побольше сил несконцентрированных». Отсюда Каракозов приходил к выводу о необходимости покушения, как акта, который обяжет конституционную партию пойти на уступки социалистам. «Само собой разумеется, — говорилось в письме далее, — что какой-нибудь единичный факт в настоящее время несравненно полезнее для компании акционеров наших обеих фирм». При этом Каракозов замечал, что следует разъяснять односторонний характер политического переворота, «проводить ту мысль, что это дело не совсем-то чистое, что для многих оно не выгодно, потому (что) ведется в интересах одной только стороны», то есть конституционалистов. Но в «успехе дела» он видел «хорошее средство» для народной партии. «А мы отлично тут можем понажитья»^{186}.

Это письмо продолжало начатый во время последней московской встречи спор. Каракозов то ли выдвигает новые доводы, то ли повторяет уже высказанные, чтобы убедить своих товарищей в том, что в создавшихся условиях другого выхода, чем покушение, нет. Другое дело, что люди, с которыми он вел переговоры, старались создать у Каракозова преувеличенное представление, и о своей мощи и о своей готовности к перевороту. Прямым участием в действиях этой партии — тайной демократической организации, оставшейся нераскрытой, Каракозов рассчитывал связать эту организацию и добиться от нее определенных уступок. С другой стороны, он не терял надежды, что само покушение вызовет народное восстание и с этой целью писал и распространял прокламацию «Друзьям-рабочим». «Прокламацией я хотел достигнуть того, — говорил он на следствии, — чтобы рабочий народ сам принял участие в этом перевороте и потребовал бы от партии (конституционной. — Э. В.) необходимых гарантий для обеспечения своего благосостояния и свободы»^{187}.

В воспоминаниях Худякова, хотя и не говорится о конституционной

партии, но прямо отмечается, что Каракозов действовал в чьих-то интересах, надеясь при этом на выигрыш для социалистов. «Он думал, — пишет Худяков, — что покушение даст им значительные денежные средства, а народ получит «уступочку», которой общество и воспользуется для пропаганды И для достижения своей цели — социальной республики...»^{188}

Ишутин в письме, написанном им весной 1867 года из Шлиссельбургской крепости на имя председателя следственной комиссии, утверждал, что в переговорах Каракозова с конституционной партией принимал участие и Худяков. Но после того как «виновные» были уже осуждены и разосланы на каторгу и ссылку, а сам Каракозов повешен, этот вопрос уже никого не интересовал. Мы не знаем, насколько достоверны эти слова Ишутина, но представляется несомненным, что конспиративные знакомства в Петербурге, где Каракозов был новым человеком, он заводил не без помощи Худякова. Во всяком случае, последний мог рекомендовать Каракозову Кобылина как посредника.

Есть несколько указаний на то, что Худяков и Кобылин знали друг друга. Из воспоминаний Худякова видно, что известие об аресте Кобылина его очень встревожило^{189}. Кроме того, Худяков рассказывает следующий эпизод, произошедший с ним во время следствия, который также подтверждает, что они были известны один другому. «Кобылин показал между прочим, — сообщает Худяков, — что к нему на квартиру приходил однажды для свидания с Владимиром человек невысокого роста с темными волосами, но лицо его было почти закрыто воротником, так что его нельзя было рассмотреть. Я подходил под эти приметы; меня одели в пальто с воротником и поставили перед Кобылиным.

— Этот? — спросили его.

Кобылин, очевидно, был в затруднении...

— Да, почти такой же рост и темные волосы.

— Вы были в доме Афанасьева на Выборгской стороне?

— В первый раз слышу, — отвечал я с удивлением.

Внезапное вдохновение, которое посещает иногда людей в трудные минуты их жизни, озарило Кобылина на этот раз.

— Нет, это не тот. У того волосы были гладко приглажены.

— Ну, у этого уже с колыбели волосы всклокочены! — воскликнули члены, и меня с торжеством отвели в номер»^{190}.

Слова Худякова о затруднительном положении, в которое попал Кобылин, увидев его на очной ставке, его фразу о внезапном вдохновении,

озарившем Кобылина, нельзя понять иначе чем намеки на то, что Кобылин пытался его выгородить. Появление арестованного Худякова было для Кобылина неожиданностью. Сказав о человеке невысокого роста, приходившем к Владимирову-Каракозову, он, конечно, не думал, что ему представят именно Худякова. С другой стороны, он не знал, в чем признался Худяков, и не хотел выглядеть «запирающимся» на следствии. Поэтому только после отрицательного ответа Худякова его и «озарило» «внезапное вдохновение».

По свидетельству Г. А. Лопатина, Худяков разделял надежды Каракозова на восстание в связи с покушением. Это видно из возражения Лопатина на «теоретические прощупывания» со стороны Худякова при попытке привлечь его к заговору. «...Я заявил, — пишет Лопатин, — полнейшее недоверие к тому, чтобы насильственная смерть государя, при отсутствии сколько-нибудь сильной революционной партии и при тогдашних обстоятельствах, могла вызвать в народе какие-нибудь смуты, а главное, чтобы подобные смуты, если бы они и произошли, могли повести к чему-нибудь путному...»^{191}

Есть также прямые указания на то, что Худяков оказал помощь Каракозову в покушении. Трофимов так рассказывает об одном из своих разговоров с Худяковым: «На мой вопрос, каким образом при таких сильных уликах, как предсмертное показание Каракозова, что он дал ему деньги на пистолет и в его пальто стрелял, он мог оправдаться, Худяков сказал: «Чудак вы, я все это объяснял благотворительностью. Не мог же я, дескать, отказать товарищу в одолжении, не зная его намерений»^{192}. У Трофимова вообще создалось впечатление, что Худяков был свидетелем покушения, так подробно он о нем рассказывал. «Да, все было бы хорошо, говорит Худяков, если бы Каракозов не сглупил; а то выбрал место, где стрелять... где толпа народа, и пистолет заряжен двойным зарядом, так что при выстреле из одного ствола у него вырвало его из рук^[5]. Все это можно бы было устроить лучше; можно было сходить двоим, троим, у одного подтолкнули, другой бы выстрелил. Государь постоянно гуляет по Английской набережной один; тут можно было бы убить его наповал без всякой помощи. Пожалуй, Каракозов устроил бы все это лучше, но он спешил потому, что ему нельзя было долее оставаться в Петербурге без паспорта»^{193}.

Из этого рассказа трудно сделать вывод, что Худяков противодействовал Каракозову. Наконец он сам писал в своих воспоминаниях: «Если бы не ненависть к комиссии, то, кажется, я сознался

бы во всем, что могло вести меня одного на виселицу»^{194}.

Если сопоставить все заслуживающие доверия свидетельства, то можно заключить, что Каракозов, по скрыв от ближайших товарищей своего намерения и объяснив, с чем именно оно связано, действовал все же на собственный страх и риск, имея в виду освободить их от всякой ответственности за эти действия в случае неудачи. А при удачном исходе покушение, по его мысли, разделявшейся и Худяковым, должно было принести существенную пользу социалистическому движению. Это объясняет и кажущееся противоречие в отзывах Худякова — с одной стороны, он говорил о преждевременности покушения, а с другой — оказывал Каракозову помощь.

Замысел Каракозова и Худякова был утопичен. Это продемонстрировал опыт народовольцев, которые пятнадцать лет спустя в более благоприятной обстановке и при значительно большей организованности движения казнили Александра II, однако переворота этим не вызвали.

«Террор, — как отмечал В. И. Ленин, — был заговором интеллигентских групп. Террор был совершенно не связан ни с каким настроением масс. Террор не подготовлял никаких боевых руководителей масс. Террор был результатом — а также симптомом и спутником — неверия в восстание, отсутствия условий для восстания»^{195}.

История ишутинско-худяковского заговора и покушения Каракозова служит наглядной иллюстрацией ленинского анализа причин, породивших террористическую тактику.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

СЛЕДСТВИЕ И СУД

Что касается до их показаний, то они делались иногда вследствие незнания законов (столь общего в Российском государстве), многих улик (например, найденной шкатулки с письмами и вещами), а еще больше вследствие недоразумений, посеянных Мотковым; наконец, и оттого, что даже умный человек очень быстро глупеет в крепости.

*И. Л. Худяков, Опыт автобиографии.
Отрывок из рукописи.*

На след Худякова III отделение напало очень скоро. И было это так.

Привезенный туда Каракозов назваля окончившим гимназию бывшим крепостным крестьянином Алексеем Петровым. Откуда он родом — отвечать отказался. Утверждал, что соучастников у него не было и о его намерении никто не знал. Составили акт о найденных при нем вещах и бумагах, допросили свидетелей покушения, и дело было передано в высочайше учрежденную следственную комиссию, возглавлявшуюся П. П. Ланским.

Здесь Каракозов объяснил, что в Петербурге он недавно, что целью его было сближение с рабочим народом, для чего сам он работал на поденщине, а проживал, не предъявляя документов, в трактирах, харчевнях, питейных лавочках^{196}.

Петербургской полиции немедленно дано было распоряжение произвести розыски «во всех гостиницах, ресторанах, трактирах, харчевнях и других заведениях, а также в частных домах», чтобы найти следы проживания «преступника» и знавших его людей^{197}. Были вызваны все владельцы оружейных лавок, выясняли, где и когда куплены пистолет и пули.

А тем временем в следственной комиссии продолжались непрерывные допросы неизвестного. На третий день, 6 апреля, начальник III отделения и шеф жандармов В. А. Долгоруков докладывал царю: «Преступника,

называющего себя Алексеем Петровым, допрашивали целый день, не давая ему отдыха; священник увещевал его несколько часов; но он по-прежнему отрицает и ничего нового не показывает. Допрос продолжается. Розыски по городу также ни к чему удовлетворительному не привели»^{198}.

На следующий день в вечернем донесении Александру II Долгоруков сообщал: «...Преступник до сих пор не объявляет настоящего своего имени... Хотя он действительно изнеможен, но надобно еще его потомить, дабы посмотреть, не решится ли он еще сегодня на откровенность»^{199}. И его «томили» и голодом и бессонницей, рассчитывая, что в полудремотном состоянии он проговорится. И больше всего ждали восклицания польски: очень уж хотелось видеть в нем поляка, мстящего за расправу с польским восстанием. В ночные часы, когда прекращались допросы, жандармы, сменявшиеся через каждые два часа, трясли его с перерывами в пять минут, не давая уснуть. И так продолжалось более недели^{200}.

Но не пытки бессонницей и непрерывными допросами вынудили признания у покушавшегося, а оставленные им по конспиративной неопытности следы, по которым оказалось нетрудно установить некоторые его связи. И еще доверчивость к людям из «простонародья». В кармане был найден обрывок записки, совсем небольшой кусочек бумаги, но в нем прочитывалась фамилия «Кобылин».

Каракозову пришлось объяснять, кто это такой. Он назвал врача второго сухопутного госпиталя, у которого лечился под именем Владимирова. Так потянулась первая нить. Кобылин был арестован и допрошен. Он подтвердил то же самое: Владимиров бывал у него в госпитале как больной, и больше он о нем ничего не знает.

Но полиция не дремала. По участкам были разосланы фотографии Каракозова. И Павел Цеткин, у которого Владимиров проживал дней десять в середине марта, узнал его. 7 апреля Цеткин, его жена и постоялец Голубцов давали в комиссии показания. Цеткин рассказал, что, выезжая от него, Владимиров оставил адрес Кобылина на тот случай, если ему придут письма. Письмо пришло (оно было от Ишутина), и Цеткин его отнес Владиминову. Стало ясно, что связь с Кобылиным не ограничивалась посещением госпиталя. Голубцов показал, что на столе у Владимирова видел письмо, адресованное в Москву на Пречистенку какому-то Ермолову. И как ни пытался Каракозов объяснять, будто это письмо к генералу Ермолаеву, чтобы отвести след, но в тот же день в Москву полетело телеграфное предписание, выявить личность Ермолова или Ермолаева, арестовать и доставить в Петербург.

От Цеткина комиссии стало известно, что по поручению Владимирова он ездил с письмом к какому-то «домашнему учителю». Хотя Худяков переехал на новую квартиру, но по старому адресу установить, о ком шла речь, было нетрудно. Все сделали в один день.

В послеобеденные часы 7 апреля к Худякову явились чины полиции вместе с Цеткиным. «Нам известно, у вас бывал человек высокого роста, он ходит в поддевке и пр.». «Запираться не было возможности, — пишет Худяков, — дворники и прислуга могли бы уличить»^{201}. Оставалось придать визитам Каракозова самый невинный характер. Да, подтвердил Худяков, приходил к нему такой человек раза два, обращался за денежной помощью, оказавшись без всяких средств, и он дал ему несколько рублей. У Худякова произвели обыск, отобрали все бывшие дома экземпляры запрещенного «Самоучителя» и увезли его вместе с «вещественными доказательствами» — бумагами, фотографиями, письмами — в III отделение.

Так потянулась и другая, пока что не столь уж страшная нить от клубка, в котором еще оставались сокрыты и люди и факты.

А тем временем в следственную комиссию был назначен новый председатель — М. Н. Муравьев Вешатель, одно имя которого приводило людей в трепет.

Следственную комиссию, естественно, интересовал вопрос: почему Владимиров обратился за денежной помощью именно к Худякову, кто направил его? «Ему стоило бы только сказать, что он слышал обо мне разговор на Невском, — пишет Худяков, — в каком-нибудь книжном магазине, наконец, в Публичной библиотеке, и меня бы выпустили, потому что показания дворников, служанок как раз совпадали с моими показаниями и ставили меня вне подозрения»^{202}. И конечно, если бы Худяков был освобожден, он не стал бы ждать, как развернуться дальше события, а скрылся, подобно В. М. Озерову, за границу. Но Каракозов не отличался быстротой соображения. «Вижу школа: и вошел», — ответил он ^{203}. Однако Худякову пока что удавалось отводить от себя подозрения следствия.

Хуже обстояло дело у Кобылина. Ему пришлось признаться, что Владимиров не только бывал у него дома, но и оставался несколько раз ночевать. Правда, потом Кобылин сумел занять такую линию самозащиты, что по суду он был оправдан.

И неизвестно, как бы обернулось дело 4 апреля, если бы Каракозов не оставил еще один, и при этом самый страшный след. Полицейские розыски

по трактирам, гостиницам, харчевням и т. д. привели к Знаменской гостинице, где, как выяснилось, исчез постоялец, проживавший под фамилией Владимирова в № 65. Комнату вскрыли, произвели обыск и, кроме некоторых вещей постояльца, в том числе запертой шкатулки, нашли мелкие клочки бумаги, из которых, когда их сложили, составилось письмо Ишутина, вызывавшее Каракозова в Москву, и конверт с надписью рукою Каракозова: «В Москву. На Большой Бронной дом Полякова, № 25. Его высокоблагородию Николаю Андреевичу Ишутину». Имя и отчество совпадали с теми, которые были в письме, найденном у «преступника» в кармане после покушения. В тот же день был отдан в Москву телеграфный приказ об аресте Ишутина.

8 апреля вечером Ишутин и его друзья собрались в последний раз в швейной мастерской сестер Ивановых. Утром следующего дня они должны были разъехаться по разным городам России для организации агентуры тайного общества и пропаганды на местах. Ночью они были арестованы.

Конверт с адресом Ишутина, его письмо к Владимирову, письмо Каракозова к Ишутину, находившееся в кармане в момент покушения, — все это было столь очевидной уликой их близкой связи, что Ишутину не оставалось ничего другого, как признать в «преступнике» своего двоюродного брата Каракозова.

Так только через неделю после покушения из-за случайного недосмотра, невнимания к «мелким фактам», была установлена личность покушавшегося — по национальности русского, по происхождению дворянина. Власти были обескуражены: «преступник» не только не поляк, но человек, принадлежащий к сословию, служившему опорой трона. 13 апреля министерство внутренних дел рассылало по всем губерниям срочную депешу: «Примите меры, чтобы устранять толки, что он сын помещика»^{204}.

А круг лиц, знакомых с Каракозовым, со знакомыми его знакомых, подозреваемых в знакомстве, в сочувствии да просто в политической неблагонадежности, все больше и больше расширялся. Тюрьмы заполнялись до отказа. 19 апреля Каракозов был переведен в самую страшную царскую тюрьму — Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

Выяснились знакомство Худякова с Ишутиным и тот факт, что ему было известно подлинное имя Владимирова. Правда, на допросе 11 апреля, когда запирается было уже бесполезно, Худяков все еще пытался вывернуться, называл Каракозова Козыревым, как будто припоминая слабо известную ему фамилию. Но теперь это делалось с целью оттянуть время,

чтобы дать возможность оставшимся на воле «схоронить концы»^{205}.

Положение осложнилось доносами.

В Москве вдова чиновника акушерка Варвара Кишинец поспешила сообщить властям о швейной мастерской сестер Ивановых, где бывали сходки ишутинцев и где ее дочь Мария слышала разговоры о планах освобождения Чернышевского, рассказы об участии ишутинцев в устройстве побега Я. Домбровского и др. Круг лиц еще более расширился. В Москве была создана особая следственная комиссия под председательством генерал-губернатора В. А. Долгорукова, находившаяся в подчинении у петербургской.

19 апреля студент Московского университета Игнатий Корево, незадолго до покушения привлеченный в тайное общество и довольно хорошо осведомленный о его замыслах и участниках, о связях с польским подпольем, об «Организации» и «Аде», явился к московским властям и заявил, что раскроет все ему известное, но только самому Муравьеву. Для этой цели Корево просил его арестовать, он также указал на П. Ф. Николаева и В. Н. Шаганова, до этого момента оставшихся вне подозрений и продолжавших подпольную деятельность после ареста основного ядра ишутинцев. Это было самое черное предательство, за что Корево и получил свои «тридцать сребреников» — тысячу рублей, испрошенных для него у царя Муравьевым.

На Худякова к тому же донес брат его жены — В. Лебедев. «Донос В. Лебедева был сделан так, — пишет Худяков, — что, по всем соображениям, я виновник события 4 апреля; что я всегда был агитатор... что я всегда и везде проповедовал свои идеи; что, наконец, весь город указывает на меня, как на зачинщика»^{206}. Были арестованы друзья Худякова — А. и П. Никольские, Автоном и Андрей Фортаковы, И. В. Ведерников, Е. В. Гололобова, А. А. Комарова, его жена Леонилла и ее сестра Варвара, перед самым покушением обвенчавшаяся с А. Никольским.

Наконец, Худяков ссылается на «роковые недоразумения», посеянные О. А. Мотковым, которые «так тяжело и отозвались на допросах». Поведение Моткова на следствии и суде действительно производит самое невыгодное впечатление. Он, например, показывал, будто, узнав об «Аде» и замыслах цареубийства, решительно восстал против таких средств и якобы подстрекал Худякова донести на Каракозова и, считая Ишутина главным виновником этих замыслов, уговаривал кое-кого из москвичей избить или даже убить его. Но эти показания были явной ложью. Мотков являлся автором одного из проектов программы «Организации»,

предусматривавшего цареубийство как составной акт заговора. Он был представителем от ишутинцев в Петербурге и пользовался полным доверием не только у недостаточно осмотрительного Ишутина, говорившего о нем Худякову: «Горжусь таким знакомством»^{207}, но и у весьма осторожного Худякова. Ишутин в письме из Шлиссельбурга председателю следственной комиссии (март 1867 года) утверждал, что, хотя Моткова и не было в Петербурге при покушении, но он «знает дело настолько, насколько знает его Худяков» и бывал вместе с Каракозовым у представителей конституционной партии^{208}.

Для Худякова поведение Моткова на следствии было полной неожиданностью. Он замечал, что «многие из подсудимых показывали по ошибке, по незнанию законов, по недоразумению, наконец, по слабости характера, но никто не показывал и не уличал соп атоге»^[6]. Один Мотков «держался так, как будто он гордился своею должностью сатанинского доносчика... показывал на всех и все, да еще так, что к былям небылиц без счета прилагал и чуть не втащил несколько человек на виселицу»^{209}.

Между тем Мотков вовсе не был «раскаявшимся» предателем, вроде И. Корево. Он оставался искренним революционером, мечтавшим вернуться к борьбе. По пути в ссылку он бежал, обменявшись именами с уголовником, но был пойман и умер от туберкулеза в иркутской больнице. Но это был революционер самого аморального и авантюристского склада — прямой предшественник Нечаева и нечаевщины, глубоко проникнутый порочной идеей — «цель оправдывает средства». Считая своих товарищей обреченными, он хотел самыми нечестными средствами спасти собственную жизнь и свободу, чтобы продолжать революционную деятельность. К тому же он мог рассчитывать на известные послабления, положенные по закону несовершеннолетним «преступникам» — ему было девятнадцать лет.

Нечаевский облик Моткова объясняет и те «роковые недоразумения», которые были им посеяны, по словам Худякова. И посеяны они были не во время следствия, а гораздо раньше, еще до покушения Каракозова. Многочисленные намеки и недоговоренности в «Опыте автобиографии» помогают понять, в чем было дело.

Худяков рассказывает, что когда после приезда Каракозова в Петербург он отправился в Москву, то здесь Мотков предупредил его, что «Ишутина все товарищи чуждаются». Худяков «вспомнил, как Ишутин рекомендовал Моткова и поверил последнему». Однако он отказался вмешиваться в их внутренние недоразумения, «пока они устроят свои дела сами». Позже

Худяков сетовал, что не повидался особо с Ишутиным в тот приезд, так как тогда «роковые обстоятельства объяснились бы...» «К несчастью, — заключает он этот загадочный рассказ, — Моткову удалось дотянуть роковые недоразумения до 4 апреля, почему они так тяжело и отозвались на допросах»^{210}.

Мотков, стало быть, возвел какой-то поклев на Ишутина, а Худяков этой клевете поверил.

Другой загадкой в «Опыте автобиографии» являются дважды повторенные Худяковым слова, что в начале следствия он был убежден, что «ни Ишутин, ни Странден никоим образом не могли быть в комиссии...»^{211}, то есть подвергнуться аресту. М. М. Клевенский, опубликовавший воспоминания Худякова, недоумевал, почему у Худякова могла быть такая уверенность. Завесу над этой загадкой приподнимает шлиссельбургское письмо Ишутина.

После суда всех осужденных к каторге и отдаленной ссылке отправили из Петербурга вместе. С ними ехал и Ишутин, возвращенный затем из Москвы и посаженный в Шлиссельбургскую крепость. Встретившись впервые в обстановке, где они могли свободно между собой разговаривать, осужденные, естественно, стали объясняться по поводу хода следствия и суда. У Худякова с Ишутиним был особый длительный разговор, который и раскрывает, откуда шла его уверенность, будто Страндена и Ишутина не могли арестовать. Худяков, оказывается, считал, что Странден успел уехать в Сибирь по подложному паспорту для освобождения Чернышевского, а Ишутин умер. «...Ибо Мотков ему передавал, — пишет Ишутин, — что меня Юрасов хочет отравить. Юрасов мой ближайший приятель, — возмущался Ишутин, — и намерений сих никогда не мог иметь и не имел; но Мотков действительно говорил это Худякову — то правда»^{212}. Вот, следовательно, что означали слова Моткова, будто «Ишутина все товарищи чуждаются».

Но чем же мог мотивировать Мотков необходимость такого страшного дела, как убийство товарища, да еще с ссылкой на Юрасова, к которому Худяков относился с особой симпатией? Об этом мы опять-таки можем догадаться по намекам в «Опыте автобиографии». На одном из допросов Худякову было сказано, что он напрасно запирается, так как его все равно уличат на очных ставках. «Все разболтали, думал я, — пишет Худяков, — недаром предупреждал Мотков»^{213}. Отсюда можно заключить, что Мотков говорил Худякову об излишней болтливости Ишутина, граничившей с предательством и особенно опасной в момент, когда,

казалось, что заговор идет к своей развязке. Во всяком случае, ясно, что Мотков должен был выдвинуть настолько веские доводы в пользу необходимости убрать Ишутина, что смог убедить Худякова в неуместности его вмешательства.

Худяков объяснял посеянные Мотковым «роковые недоразумения» простыми интригами человека, который, «попав впервые в политический кружок, правдою и неправдою стал искать себе влияния»^{214}. Это тоже нечаевская черта. И несомненно, что Мотков, видимо, веривший в собственную клевету, хотел вытеснить Ишутина и возбуждал к нему недоверие потому, что считал себя более способным руководителем тайного общества.

Измученный допросами и тяжелейшими тюремными условиями в Петропавловской крепости, разными уликами, как будто доказывавшими, что «москвичи разболтали все до последних пустяков», опасаясь проговориться под пыткой (его запугивали), Худяков в какой-то момент счел бесполезным «скрывать то, что уже доказано». К этому примешалось и убеждение, что Ишутина нет в живых. «Это ложное соображение, — сообщает он, — заставило меня написать на Ишутина какую-то ерунду». Спohватившись тут же, он решил проглотить смятые им в комок показания. «В одну минуту два зверя бросились на меня, — пишет Худяков, — и из всех сил избили меня до такой степени, что я потерял сознание»^{215}. Ему при этом разорвали рот. Затем под диктовку следователей он написал так называемые «откровенные показания». От «откровенных» они были весьма далеки, но все же в них фигурировали Ишутин и некоторые другие москвичи, а также Никольские, Фортаковы, Ножин как сочувствовавшие революции и помышлявшие о тайном обществе. Это было 25 и 26 апреля. Худякова принудили написать записку А. Никольскому о том, что он во всем признался и призывает его к тому же.

Эти показания, плод минутной слабости, стали для Худякова источником мучительных страданий. «Меня отвели в каземат, — пишет он, — совершенно убитого нравственно и физически: с отчаяния я решил прекратить свою жизнь»^{216}. Но в условиях неусыпного наблюдения самоубийство не удалось.

На третий день, 28 апреля, он отказался от этих показаний. «В объяснении своем от 25 апреля, — заявил письменно Худяков, — находясь в крайне болезненном состоянии, я наклеветал как на себя, так и на своих знакомых... Это с моей стороны был самый черный поступок малодушного человека, желающего свою вину облегчить клеветой на других»^{217}. И

напрасно члены следственной комиссии в тот же день составили акт, будто «домашний учитель Иван Худяков при словесных расспросах его по содержанию данных им 25 и 26 апреля показаний, разъясняя их в подробности, таковых не отвергал, в чем нижеподписавшиеся и положили составить настоящий акт»^{218}, — официальный отказ от показаний, а не акт, являлся для суда документом. Но, утратив свою силу для суда, эти показания могли быть использованы для допросов других лиц как улика. «...Очные ставки и показания москвичей, — говорил Худяков в воспоминаниях, — убедили меня в том, что и моя ошибка вредна многим: мало того, она уже перестала мне казаться ошибкой и представлялась как самое наглое и подлое преступление... Мой проступок казался мне столь громадным, столь бесконечно преступным, что ни ночью, ни днем, ни на минуту я не был в нравственно спокойном состоянии»^{219}. Он лишился сна, не мог читать и едва не сошел с ума.

Но больше следователям не удалось вырвать у Худякова ни одного слова, которое могло бы принести малейший вред его товарищам или приподнять завесу над тайнами революционного подполья. Его ответы на допросах были дерзкими и насмешливыми. И если, например, генерал Огарев, любивший похабные разговоры, замечал, что «нигилистки живут по пословице: «Чей бык ни скачет, а телята наши», то Худяков обрезал его таким ответом: «Ваше превосходительство, вы говорите, как эксперт в этих делах»^{220}. И когда комендант Алексеевского равелина, куда Худяков был переведен за свое «запирательство», говорил ему: «Захотели вы быть умнее нас», он отвечал посмеиваясь: «Удивительно! Какова дерзость!»^{221} И поведение Худякова на следствии помогло справиться со своей растерянностью многим из арестованных.

Все попытки Муравьева добиться нужных ответов от Худякова кончались крахом. Он пробовал действовать угрозами, грубостью, но ничто не помогало. Наконец, он решил перейти к «отеческому» тону, обещал ходатайствовать за Худякова перед государем, предложил провести допрос с глазу на глаз без участия других членов комиссии. «Чтобы посмеяться над Муравьевым, — пишет Худяков, — я отвечал ему самым почтительным тоном: «Сочту долгом все чистосердечно изложить лично вашему высокопревосходительству»^{222}. Но этот допрос лишний раз убедил Муравьева, что ему от Худякова ничего не добиться. Он потребовал, чтобы Худяков письменно изложил свой образ мыслей. И Худяков не мог отказать себе в удовольствии высказаться хотя бы как поборник политической свободы и конституции.

Из этого иногда делают вывод, будто его взгляды действительно ограничивались только стремлением к политическим преобразованиям и что социалистом он не был. Но вся его деятельность, все его книги для народа говорят о другом. Да, кроме того, и сам Худяков в своих воспоминаниях раскрыл свой замысел: он предположил, что это его показание затребовано по приказу царя, и счел, что это удобный случай, чтобы доказать необходимость политических свобод для расцвета России, «Теперь мне представляется вопрос, — писал он в «Опыте автобиографии», — хорошо ли я сделал, дав такое показание? Ведь оно не увлекло государя к реформам... Стало быть, оно было бесполезно». Но с этим он не мог согласиться. «Кто знает, может быть оно принесло пользу кому-нибудь из придворных, кому-нибудь из низших офицеров крепости и комиссии, которые вообще люди малообразованные. Наконец, несомненный факт той пользы, что я могу упомянуть о нем теперь»^[223].

Впрочем, утопическим представлением, будто неопровержимость логических доказательств имеет свою силу и над властвующими особами, страдал далеко не один Худяков. Но царствующие всегда делали вид, что они знают нечто такое, чего не знают простые смертные и что побивает логику последних.

Четыре месяца велось следствие в комиссии. В конце концов Муравьев, рассчитывавший вначале раскрыть польские корни заговора и бросить тень на своих личных врагов из придворной знати и высшей бюрократии, убедился, что так далеко ему пойти не позволят, и утратил интерес к делу. К этому прибавилось еще и то, что не удавалось ни от кого из обвиняемых получить прямых признаний в соучастии с Каракозовым.

Не смог Муравьев добиться и того, чтобы дело слушалось по старым судебным уставам, то есть так же, как велось следствие. Новые судебные уставы, утвержденные царем, неловко было сразу же и нарушать перед лицом Европы. Для слушания дела был назначен верховный уголовный суд. Возглавлять его полагалось председателю Государственного совета, им был великий князь Константин Николаевич. Но так как его имя фигурировало в деле в связи с «константиновской партией», к тому же он был братом царя, а суд должен судить цареубийцу, то было сочтено неудобным предоставить ему председательское кресло в суде. Князь П. П. Гагарин был поэтому назначен вице-председателем Государственного совета, а потому и председателем суда.

Материалы следствия во второй половине июля были пересланы министру юстиции Д. Н. Замятину. На суде он выступал в качестве государственного прокурора. Теперь Муравьев торопился. Следствие

фактически не было закончено, оно продолжалось и после открытия судебных заседаний, когда Муравьеву приходилось просить у Гагарина разрешения для дополнительных допросов то одного, то другого подсудимого «по вновь открывшимся обстоятельствам». В Московской следственной комиссии следствие еще было в самом разгаре, его наспех сворачивали. Также наспех было составлено обвинительное заключение и передано суду 34 человека. Судьба остальных решалась административным порядком — ссылкой, отдачей под полицейское наблюдение и т. д.

Подсудимым разрешалось выбирать себе адвокатов. Худяков остановился на В. П. Гаевском, либеральном деятеле и литераторе. Однако ни один из защитников не мог за неделю, оставшуюся до суда, ознакомиться полностью со следственными материалами, которые насчитывали несколько тысяч листов.

18 августа 1866 года начался суд над Каракозовым, Худяковым, Иштутиным, Странденем, Юрасовым, Загibalовым, Мотковым, Шагановым, Николаевым и Кобылиным. Но приговор был вынесен только двоим: Каракозову — смертная казнь через повешение и Кобылину — оправдательный приговор за отсутствием юридических доказательств.

3 сентября в 7 часов утра на Смоленском поле Каракозову был публично прочитан приговор, и, как говорилось в протоколе об исполнении приговора, «Преступник был возведен на эшафот палачами, которые совершили над ним смертную казнь повешеньем»^{224}. Министр внутренних дел П. А. Валуев записал в дневнике этот факт. «Стечение народа было большое, — отмечал он. — Толпа вела себя чинно»^{225}.

А за день до казни Каракозова, 2 сентября, в Александро-Невской лавре торжественно хоронили Муравьева Вешателя. На похоронах присутствовали царь, великие князья и принцы. Не довелось палачу пережить свою жертву.

Еще одним днем раньше у ворот Летнего сада, где Каракозов покушался на Александра II, происходила церемония закладки часовни в память «чудесного избавления» царя.

Вскоре начался суд над второй партией подсудимых. Их было 25 человек. На суде большинство из тех, кто признавался в чем-то опасном на предварительном следствии, отказались от своих показаний. 24 сентября был вынесен приговор остальным 32 обвиняемым. Из-за недостаточности улик к смертной казни никто, кроме Иштутина, приговорен не был. Ермолов, Странден, Юрасов, Загibalов, Шаганов, Мотков и Николаев были приговорены к разным срокам каторжных работ. Худякова, «как не

изобличенного в знании о намерении Каракозова совершить покушение на жизнь священной особы государя императора и в содействовании Каракозову в этом преступлении, но уличенного в знании о существовании и противозаконных целях тайного революционного общества», приговорили к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Сибири^{226}. Приговор этот казался настолько мягким, что член суда принц Ольденбургский не согласился с ним и подал особое мнение, в котором требовал смертной казни Худякову. Однако «мягкость» приговора была с лихвой возмещена: Худякову нашли такое место поселения, где он оказался в положении во много раз худшем, чем его товарищи, осужденные к каторге.

Рано утром 4 октября на одиннадцати черных высоких дрогах двинулась процессия от Петропавловской крепости к Смоленскому полю.

Здесь, как и месяц назад, производилась казнь. Был опять зачитан во всеуслышание приговор. А затем Ишутин поставлен под виселицей, а остальные к позорным столбам для совершения гражданской казни. «Мы взошли на эшафот, — пишет Худяков. — ...Перед нашими глазами готовились повесить Ишутина; его закутали в какой-то белый мешок, накинули петлю на шею... *Его продержали в петле десять минут...*»^{227} В это время прискакал фельдегер и подал министру юстиции запечатанный пакет. Это было «царское помилование» — Ишутину заменили смертную казнь пожизненной каторгой, которая тем же «высочайшим повелением» заменялась пожизненным содержанием в Шлиссельбургской крепости, куда его надлежало «отослать секретно»^{228}.

Прямо с места казни всех повезли на Московскую железную дорогу и отправили в дальний путь. Никто не смог проститься с родными, получить теплые вещи. Ишутина, видимо для сохранения в секрете места его пожизненного заключения, везли вместе с остальными и воротили в Петербург из Москвы.

Из Нижнего всех везли на почтовых лошадях двумя партиями. На каждого осужденного было по два жандарма и на каждую партию по одному офицеру. Так ехали до Тобольска. В Тобольске, где у Худякова были родственники, ему свидания с ними не разрешили. Дальше ехали с общими арестантскими партиями, но всякое общение с уголовниками было запрещено. «Путешествие наше было воистину жестокое, — писал Худяков. — Мы должны были ночевать на глухом запоре, в самых скверных комнатах этапа, причем даже не могли выходить из номера за известными нуждами... Притом нас обыскивали каждый день...»^{229}

Дорогой Худяков тяжело заболел. «Чем более мы ехали, — рассказывал он, — тем более усиливалась моя болезнь, увеличивалась слабость и бред»^{230}. Товарищи его опасались, что он скончается в пути, и его пришлось оставить в Нижнеудинске. Юрасов и Странден на руках отнесли Худякова в больницу. Условия в ней были ужасающие. Едва встав на ноги, он потребовал, чтобы его отправили дальше.

В Иркутске Худяков застал еще своих товарищей, недавний политический союз с которыми превратился за время пути в Сибирь в личную дружбу. Но это была их последняя короткая встреча. На следующий день приговоренных к каторге ишутинцев отправили за Байкал, а Худяков еще около трех недель оставался в иркутской тюрьме, пока не отбыл в другом направлении — к Якутску. Порвались последние нити, связывавшие его с близкими людьми. И никто из них не мог думать, что разлука станет вечной и пути их больше не переплетутся.

Распростимся и мы с ишутинцами, чтобы следовать за Худяковым в якутскую ссылку. Но перед расставанием расскажем о дальнейшей судьбе некоторых из них.

Ишутина, возвращенного из Москвы, заключили в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости. Здесь он пробыл до весны 1868 года. Не мудрено, что после всего перенесенного — после следствия и суда, казни Каракозова (ему отказали даже в предсмертном свидании с ним) и ожидания собственной смерти с петлей на шее, одиночное заключение сделало свое черное дело. У Ишутина стали обнаруживаться признаки психического расстройства. Его отправили в нерчинскую каторгу — сначала в Алгачи, затем на Александровский завод, продолжая держать в одиночке. В 1875 году он был переведен на Нижнюю Кару и только здесь получил относительную свободу. Он был зачислен в так называемую вольную команду, жил не за тюремной решеткой, мог общаться с другими политическими каторжанами, и это скрасило последние годы его жизни.

Народник-пропагандист С. Богданов, сосланный в карийскую каторгу, оставил свои воспоминания о встречах с Ишутиным в 1877–1878 годах.

«Больной, истомленный одиннадцатилетним сидением в одиночке», — как пишет Богданов, — Ишутин внутренне не был сломлен и оставался верен своим идеям. «Он казался ненормальным», однако нередко высказывал вполне здравые мысли и суждения и охотно вступал в разговоры. «Чувствовалось, — замечал Богданов, — что этот человек обладает большими знаниями, начитанностью и глубоким убеждением в правильности своих взглядов и цели, к которым он стремился»^{231}.

Но возвращение к людям произошло слишком поздно. В 1878 году его, тяжело больного, поместили в больницу. Карийские друзья посещали его и там. А 5 января 1879 года Ишутина не стало. Он умер тридцати девяти лет от роду, ненадолго пережив Худякова.

Иначе сложилась судьба тех людей, с которыми Худяков расстался в Иркутске. П. Д. Ермолов, Н. П. Странден, М. Н. Загибалов, Д. А. Юрасов, П. Ф. Николаев и В. Н. Шаганов попали на Александровский завод Нерчинских рудников. Здесь они встретились с тем, кого собирались освободить из заключения, — с Н. Г. Чернышевским, и более трех лет жили с ним бок о бок. И какой бы тяжелой ни была их судьба, но уже одно то, что они находились вместе и рядом с ними жил человек, перед которым они преклонялись, придавало им силы нести свой крест. Беседы, а иногда и споры с Чернышевским духовно их обогащали. Они жили своей, хотя и замкнутой, изолированной от внешнего мира жизнью, читали, размышляли, даже разыгрывали пьесы весьма острого политического содержания, написанные Чернышевским. Об этих днях и о Чернышевском есть воспоминания Николаева и Шаганова. Многие из того, что создавал в то время Чернышевский и что не сохранилось в рукописях, стало известно в их передаче.

Чернышевский относился очень тепло к ишутинцам. Политический каторжанин С. Г. Стахевич, находившийся тогда же на Александровском заводе, писал в своих воспоминаниях: «...Николай Гаврилович заметно благоволил... к Страндену и Юрасову, и свое мнение о них высказал мне однажды такими словами: «Эти двое, как были при народе, так всегда при народе и останутся»^{232}.

В 1871 году все ишутинцы были выпущены с Александровского завода на поселение в разные места Якутии. Многие занялись там хлебопашеством, стараясь приобщить к земледелию и якутов, и вели культурную работу среди местного населения. Только в середине восьмидесятых годов им разрешили вернуться в Европейскую Россию.

Они остались верны своим убеждениям. Но политическую работу продолжали только Загибалов и Николаев. Первый в конце восьмидесятых годов вернулся в Сибирь, в начале XX века стал редактором-издателем эсеровской газеты «Сибирский вестник» и участвовал в революции 1905 года. Был вместе с сыном приговорен к ссылке в Нарымский край, но скрылся и жил долгие годы на нелегальном положении. Он умер в 1920 году.

Николаев, поселившийся после нерчинской каторги в Верхоленске, уже в 1874 году был оттуда выслан за произнесение «дерзких слов против

изображения государя», затем несколько раз привлекался к судебной ответственности по политическим делам. Он примыкал к народолюбцам, затем к партии «Народное право» и был одним из основателей партии эсеров. Вся жизнь его прошла на каторге, в ссылке, под надзором полиции. Известен он был как публицист и переводчик. Николаев умер в 1910 году.

И наконец, несколько слов об О. А. Моткове. Вскоре после того, как Худяков был отправлен из Нижнеудинска, туда прибыл Мотков с партией ссыльных. На этапном пункте он обменялся документами с ссыльнопоселенцем Бачинским, то есть при переключке назвался вместо него, а затем бежал. В двадцатых числах апреля 1867 года, через месяц после побега, он был задержан вблизи Иркутска и снова арестован. А спустя несколько месяцев Мотков умер в иркутской тюремной больнице от туберкулеза.

Из остальных, привлекавшихся по делу Каракозова, — кого отправили в ссылку, кого выслали по месту рождения, кого оставили под надзором полиции в Москве и Петербурге. Одни отошли от движения, другие стали участниками революционной борьбы последующих десятилетий. О всех не расскажешь. Последуем же за Худяковым, отправленным в Якутск в лютую зимнюю стужу.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА

Если вас спросят: кто самый несчастный человек на свете, — отвечайте: тот, кто поставлен в бесконечно-бессрочное бездействие и гниет заживо не от отсутствия сил и способностей, а от отсутствия возможности употребить их в дело.

И. А. Худяков, Из письма к матери от 2 ноября 1869 года.

В Иркутск тем временем пришло распоряжение III отделения генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову. «Его императорское величество, — говорилось в нем, — высочайше повелеть соизволил: вменить вашему превосходительству в обязанность назначить Худякову одно из таких самых отдаленных мест Сибири, с которого бы он не мог ни под каким предлогом скрыться, и с тем, чтобы Худяков оставался под строгим вашим наблюдением и без разрешения вашего никогда и никуда не отлучался с назначенного ему места жительства»^{233}.

Корсаков и назначил такой пункт, откуда и побег был невозможен и где в те времена человек оказывался заживо погребенным. Это был «город» Верхоянск, расположенный на Полюсе холода, здесь зимой температура доходила до 70 градусов. Якутскому губернатору предписывалось отдать Худякова в Верхоянске «под личную ответственность земского исправника или особого надежного лица, а вместе с тем иметь и со своей стороны постоянное бдительное и строгое наблюдение за Худяковым» и доставлять ежемесячно в Иркутск «надлежащие о его поведении сведения»^{234}.

Но не назначенный ему строжайший режим и не суровые условия Крайнего Севера оказались роковыми для Худякова, а то страшное безлюдье, в какое он попал, и та бездеятельность, на которую он был обречен.

В. Ногин, отбывавший ссылку в Верхоянске в девяностых годах XIX века, то есть спустя тридцать лет после Худякова, так описывает это место: «По переписи 1897 г. в Верхоянске было 59 дворов с 356 человеками

населения. Название «город» не подходит к Верхоянску; не вяжется с ним и слово «деревня». По внешности самая плохая русская деревня выглядит лучше его. Это якутское зимовье, куда были перенесены административные учреждения округа почти безлюдное летом, когда якуты уходили в летники на сенокос»^{235}.

Сам Худяков рассказывал в «Кратком описании Верхоянского округа», что все население Верхоянска в 1867–1868 годах составляли пятьдесят якутов и несколько русских семей. Ни одного политического ссыльного, с кем бы мог Худяков перекинуться словом, тогда в Верхоянске не было. Русское население, состоявшее из исправника и считанных семей поселенцев, почти что ассимилировалось по языку. На всем Крайнем Севере не было ни одной школы. В этой обстановке и должен был коротать свои дни Худяков.

22 февраля 1867 года в сопровождении офицера и двух казаков Худяков был отправлен из Иркутска в Якутск. «По строгости предписаний, — писал он, — офицер, которому меня сдавали, заблаговременно распорядился везти меня с обнаженными саблями»^{236}. Приказ, однако, выполнен не был из-за жестоких морозов.

Около трех недель длился путь до Якутска по пустынному унылому тракту. В Якутск Худяков был доставлен 11 марта.

И уже через два дня началось «бдительное и строгое наблюдение»: к Худякову был подослан шпион-осведомитель, столоначальник канцелярии Якутского губернатора А. Трофимов, который первую свою запись о разговоре с Худяковым пометил 14 марта. «Я выдаю себя за поляка, — сообщал Трофимов. — Высказывал ему свое убеждение, что рано или поздно Польша будет существовать и что в России необходим новый порядок». Трофимов действовал осторожно, назвал себя Трохимовичем, рассказывал, что участвовал в восстании 1866 года за Байкалом, что в Якутске есть кружок ссыльных и что через него, Трохимовича, «политические преступники» ведут переписку. Все это он раскрывал Худякову не сразу, стремясь расположить его к себе и добиться доверия. «Разумеется, — писал он, — подобные убеждения я высказываю ему двусмысленно и полунамекami, так, чтобы он мог только догадаться. По мере сближения с ним я буду увеличивать свою откровенность». И Трофимов добивался своего. «Мои двусмысленные выражения на счет русского правительства ему ужасно нравятся, — отмечал он»^{237}.

Сближению Трофимова — Трохимовича с Худяковым помогало то обстоятельство, что Худякову разрешили жить вне острога, как

следовавшему на поселение, и жил он у Трофимова. Видимо, все это было специально подстроено. Худяков же считал эти «ослабления» результатом ходатайства его иркутских друзей, имена которых назвать Трофимову отказался, несмотря на все ухищрения осведомителя.

16 марта Трофимов уже записывал: «Со мной делается больше и больше откровенным»^{238}. В Якутске Худяков пробыл не более недели и в сопровождении Трофимова был отправлен в Верхоянск. Последнюю запись, не имеющую даты, Трофимов делал уже «в дорожном костюме»^{239}.

Сведения, собранные Трофимовым, представлялись якутскому и восточносибирскому начальству столь важными и открывающими новые обстоятельства каракозовского дела, что М. С. Корсаков лично повез их в Париж и передал находящемуся там начальнику III отделения, не дожидаясь общей докладной записки Трофимова, написанной уже после его возвращения из Верхоянска — 4 мая 1867 года^{240}. Но в Петербурге считали все дело конченным, никаких дополнительных расследований производить не собирались, и вывод из донесений Трофимова был один — необходимо строжайшее наблюдение за Худяковым, его перепиской и связями.

Дорога от Якутска до Верхоянска была еще более тяжелой, чем из Иркутска в Якутск. В «Опыте автобиографии» Худяков упомянул, что сопровождавший его чиновник — это и был Трофимов — назвал езду в Верхоянск «хуже каторжной работы»^{241}. Но, видно, слишком заманчивы были награды и повышения, которые сулил ему этот каторжный труд, чтобы от них отказаться. На следующий год он снова прибыл в Верхоянск, и в Петербург было отправлено его новое донесение. Но об этом дальше.

Худяков, как сообщал Трофимов, переносил свое положение равнодушно, интересовался только книгами. «Во время дороги, — докладывал Трофимов, — Худяков был весел и почти постоянно пел; только подъезжая к Верхоянску, он начал выказывать некоторое утомление»^{242}. Тогда Худякова еще не покидала надежда, что его положение может измениться, что его либо переведут в более благоприятные условия, либо вовсе возвратят из ссылки. «Все будет зависеть, откуда ветер подует — понимаете?» — говорил он Трофимову^{243}.

7 апреля Худяков был доставлен в Верхоянск. Трофимов, находившийся там дней десять-пятнадцать, продолжал свои наблюдения. Он сообщал, что добился согласия Худякова пересылать через него письма

и что Худяков просил его печатать под своим именем то, что он напишет для печати. Но, как видно, Худяков все же не рискнул воспользоваться «любезностью» Трофимова.

Около полутора месяцев вел свою черную работу этот добровольный шпион, не состоявший официальным агентом в III отделении. И его общий вывод был таков: «Понесенное Худяковым наказание решительно не имеет никакого влияния на его образ мыслей»^{244}. «...Государственный преступник Иван Худяков, как человек хорошо образованный и притом свободно владеющий разговором, по своим убеждениям будет весьма вредным в обществе, но на месте настоящей его ссылки нельзя ожидать от него никакого вреда»^{245}.

О жизни Худякова в Верхоянске имеется краткий рассказ Н. С. Горохова, сына русского купца и якутской женщины. Рассказ этот известен в передаче врача Я. Белого, отбывавшего ссылку в Верхоянске в начале восьмидесятых годов. К этому времени Горохов был волостным писарем, правильно говорил по-русски в отличие от других жителей, почти забывших родной язык. Он был образованным самоучкой, «много читал, выписывал «Отечественные записки» и «Русские ведомости» и состоял даже членом Географического общества за сообщение о костях найденного мамонта...»^{246}

Но когда Худяков приехал в Верхоянск, Горохов был еще юношей. Он умел читать и считать на счетах, любил книгу и читал «без разбора все, что попадалось»^{247}. По словам Горохова, Худяков в Верхоянске «ни с кем из русских не хотел знакомиться», общался только с якутами, так как хотел поскорей овладеть якутской речью. «Я не мог к нему проникнуть, — говорит Горохов, — пока хозяин его не уверил, что я наполовину якут»^{248}. После этого у Худякова установились самые дружеские отношения с Гороховым. Он руководил чтением юноши, а тот помогал Худякову в изучении якутского языка. Горохов был искренне привязан к своему учителю.

В Верхоянске Худяков поселился в юрте у многосемейного якута, где за перегородкой содержался и скот. «...Воздух в ней был невыносимый», — сообщал Горохов. Средств к существованию не было, казенное пособие, полагавшееся ссыльным, Худякову не выдавали. Не было также никакой работы, которая могла бы его прокормить. Ничтожной оказалась связь с внешним миром: почта в Верхоянск приходила два раза в году. Письма, которые писал Худяков в Россию, шли через исправника и якутского губернатора к генерал-губернатору Восточной Сибири и не всегда

передавались по назначению.

И все же какая-то материальная помощь и моральная поддержка — то деньгами, то книгами, то редкими письмами — доходила до Худякова, скрашивая горечь одиночества и тяготы быта. За весь 1867 год на его имя поступило всего 99 рублей^{249} — сумма ничтожная, позволявшая только что не умереть с голоду. В ответ на его просьбу ему прислал какие-то книги Г. А. Лопатин^{250}. Регулярно писала мать (отец умер в 1867 году). И не столько нужда, бытовое неустройство, к которым Худяков привык применяться и раньше, сколько отсутствие дела ложилось тяжелым грузом на его психику и привело в конце концов к неизлечимой душевной болезни.

Деятельная натура Худякова не могла мириться с вынужденным бездельем, с неподвижностью сонной жизни оторванного от мира маленького селения «на краю света», чуждого каких бы то ни было духовных запросов. И он с первых же дней принялся за разнообразные занятия, чтобы заполнить свой досуг и принести пользу полудикому в те времена народу. Худяков стал изучать якутский язык, хлопотал об открытии школы в Верхоянске, сумел убедить в такой необходимости исправника и уговорить местных жителей собрать деньги для ее постройки^{251}. Одновременно с изучением якутского языка Худяков принялся за составление якутско-русского и русско-якутского словарей и грамматики, приступил к сбору якутского и местного русского фольклора и этнографических материалов, а кроме того, писал свои воспоминания — «Опыт автобиографии», которые вчерне закончил в декабре 1867 года.

Весной следующего года в Верхоянск снова прибыл Трофимов. Он нашел в Худякове «противу прежнего большую перемену». Худяков «сделался очень печален, — сообщал шпион, — постоянно ищет уединения, так что даже довольно трудно было вызвать его на продолжительные разговоры. Прежняя надежда на скорое осуществление задуманных планов далеко в нем ослабла, хотя нельзя сказать, что совершенно угасла». Из донесения Трофимова видно, что Худяков жил довольно уединенно и окружающая обстановка все более раздражала его. «Сведений о ходе в настоящее время политических событий со дня пребывания в Верхоянске, — продолжал Трофимов, — имеет очень мало, так как в городе получают только «Биржевые ведомости» и «Северная почта», но он, считая эти газеты правительственными органами, почти в них не заглядывает»^{252}.

Наблюдения Трофимова подтверждаются и воспоминаниями Худякова, последние строки которых раскрывают его трагическое одиночество и

нарастающую душевную депрессию. «...Людам, относящимся ко всему, кроме жвачки, с равнодушием коровы, трудно понять всю тяжесть агонии человека, находящегося в моем положении, — пишет Худяков. — Жить вместе с телятами, по целым неделям голодать, при невозможности работать что нибудь дельное, среди общества самых пошлых ябедников, среди людей, которых все мысли и поступки возмущают душу; не иметь более года никакого известия от самых дорогих и близких людей, ждать их по целым месяцам и снова ничего не получать, наконец, видеть ужасные бедствия родной страны, которые могли быть...»^{253} Фраза осталась незаконченной, но что должно было следовать дальше, угадать нетрудно.

Естественно, что, когда Трофимов передал ему предложение якутского губернатора Лохвицкого принять участие в экспедиции по исследованию Чукотского края, Худяков с радостью на него откликнулся. Лохвицкий действительно испрашивал разрешения у иркутских властей. Но генерал-губернатор Восточной Сибири счел недопустимым разрешить «государственному преступнику» «столь дальнюю и долговременную отлучку». Участие Худякова в экспедиции не состоялось.

В том же 1868 году в Верхоянск приезжал географ и путешественник Г. Майдель, следовавший в поездку по северо-восточной части Якутской области. Его исследования нуждались в метеорологических наблюдениях. «Мне удалось найти в Верхоянске лицо, — писал позже Майдель, — которое с большой готовностью вызвалось производить не только термометрические, но и барометрические наблюдения. Это был государственный преступник, замешанный в каракозовском покушении...

Фамилия его Худяков. Это был вполне образованный человек. Я просил его отмечать наблюдения трижды в день, а также записывать ночные *minima*. Помимо этого, я просил его в сильно изменчивую погоду и при сильных бурях наблюдать температуру ежечасно, поскольку он был в состоянии это исполнить, для чего и оставил ему годные карманные часы. Он очень обрадовался и обещался прилежно наблюдать до моего приезда. Так как до возвращения оставалось почти два года, то я мог надеяться на двухгодичные наблюдения в Верхоянске, что было очень важно для более точного определения Полюса холода, чем это было возможно до сих пор.

Худяков вполне оправдал мои надежды и даже более, так как он делал наблюдения ежечасно в течение всех месяцев, а летом записывал температуру каждые четверть часа; но, с другой стороны, наблюдения его обнимают цикл, если не ошибаюсь, всего 14 месяцев... За короткое время очень добросовестные труды Худякова имели необыкновенно важное значение, так как только на основании их академик Вильд мог вычислить

температуру Верхоянска»^{254}.

Видимо, Худяков не довел до конца (до двух лет) свои наблюдения в связи с начавшейся болезнью.

В «Опыте автобиографии», говоря о невыносимых условиях, в которых он оказался, Худяков замечал: «Мысль, однако, не поддается никакому ограничению»^{255}. И он, как будто чувствуя, как мало ему отпущено времени для полноценной мозговой работы, спешил охватить все, что было доступно в полудиких условиях его ссыльной жизни. За первые полтора года пребывания в Верхоянске Худяков в новой для него области сделал так много, как иной бы не смог за всю свою жизнь.

Кроме словарей и воспоминаний, он написал статьи «Успехи человека в прошедшем и будущем», «Об устройстве в Сибири железной дороги», «О вымышленных и действительных Робинзонах». Об этих статьях мы ничего не знаем, кроме их названия. Последняя, судя по заглавию, должно быть, рисовала переживания человека, жизнь которого по духовному одиночеству не отличалась от жизни на необитаемом острове. Но главными его трудами, сохранившими свою научную ценность и до наших дней, явились этнографические и фольклорные исследования — «Краткое описание Верхоянского округа» и «Материалы для характеристики местного языка, поэзии и обычаев».

Первая работа, состоявшая из шестнадцати глав с дополнениями, содержала физико-географический очерк Верхоянского округа, описание его флоры и фауны, местного и русского населения с их обычаями, бытом, преданиями и умственным развитием. Во второй были собраны мифы, сказки, песни, загадки, пословицы и другой фольклорный материал в якутском подлиннике и русском переводе. Здесь же был представлен и местный русский фольклор.

Все эти работы через исправника посылались якутскому губернатору, а затем шли в Иркутск для окончательного решения, как с ними поступить. И только благодаря переписке между восточносибирскими и якутскими властями исследователю Б. Кубалову удалось впервые выявить список верхоянских трудов Худякова. Об их последующей судьбе мы расскажем особо.

Якутские власти были заинтересованы в издании некоторых работ Худякова, в частности словарей. Получив благоприятный отзыв от людей, знавших якутский и русский языки, якутский губернатор А. Д. Лохвицкий обратился за разрешением в Иркутск, ссылаясь на то, что словарь будет весьма полезен русским чиновникам, приезжающим на службу в Якутскую

область, и может быть издан Якутским статистическим комитетом. Замещавший генерал-губернатора Восточной Сибири генерал Шелашников ответил на это ходатайство так: «Имея в виду бывшие уже примеры к отклонению высшим правительством не только государственным, но и политическим преступникам помещать их сочинения в печати, я считаю невозможным и издание упомянутого словаря, но к принятию этого словаря статистическому комитету, как дара, или с уплатою денег от комитета и к изданию затем, во всем согласно существующих правил, без обозначения имени составителя, по мнению моему, не может встречаться препятствий»^{256}. Словарь, однако, издан не был, и дальнейшая его судьба неизвестна. Есть глухие сведения, что им, как материалом, позднее пользовался известный ученый, специалист по Якутии — Э. К. Пекарский, отбывавший в Якутской области ссылку в начале восьмидесятых годов как участник революционного движения^{257}.

Затем Худяков перевел на якутский язык некоторые книги Ветхого завета. Вопрос об этом издании не решались взять на себя не только якутские, но и восточносибирские власти. Перевод Худякова был отправлен в III отделение и, видимо, застряв там, в Сибирь не был возвращен.

В ответ на запрос якутских властей относительно других работ, представленных Худяковым, Шелашников ответил, что «не находит возможным дать статьям дальнейший ход», а что касается этнографических трудов, в издании которых статистическим комитетом якутское начальство было заинтересовано, то их публикация (конечно, без имени автора) после длительной переписки была разрешена при том условии, если статистический комитет признает их полезными и они не содержат в себе «ничего недозволенного»^{258}.

В результате в статистический комитет попали следующие рукописи Худякова: «Материалы для характеристики местного языка, поэзии и обычаев», «Краткое описание Верхоянского округа» и словари. Рассмотреть их поручили епископу Дионисию. Тот сообщил, что о словарях, с которыми он познакомился раньше, он уже дал одобрительный отзыв. «Что же касается до прочих рукописей, — писал Дионисий якутскому губернатору в августе 1869 года, — то я передал их на рассмотрение знатоку якутского и русского языка священнику Димитриану Попову»^{259}.

19 декабря того же года отзыв Попова был прочтен на заседании статистического комитета. «Якутский язык очень богат тождеством слов, — говорилось в этом отзыве, — и труден по конструкции выражения

мыслей; без погрешностей владеть им может только опытный знаток. Составитель «Материалов...», не приобретя еще ни навыка, ни понятий в якутском говоре, взялся за настоящее дело. Перевод текста якутского на русский язык не везде согласен со слововыражением якутским, а удержаны лишь мысли и переданы на бумаге перифразически... Составителю необходимо заняться вновь пересмотром и исправлением своих трудов»^{260}. Таков был вывод рецензента. Вполне возможно, что он не лишен справедливости. За короткий срок пребывания в Верхоянске Худяков действительно мог еще не вполне овладеть всеми тонкостями языка. Подобное мнение было высказано и таким знатоком Якутии, как Э. К. Пекарский, который при самом доброжелательном отношении к памяти уже умершего Худякова, сличая рукописи его переводов о якутскими подлинниками, отмечал, что Худяков «знал якутский язык плохо, ибо в затруднительных случаях очень неудачно копировал якутские слова, очевидно, вовсе не понимая их значения». Правда, и замечания Д. Попова Пекарский считал не всегда грамотными и обоснованными. Между тем, по мнению Пекарского, плохое знание языка не помешало Худякову «дать прекрасный перевод собранных им песен, сказок и проч, (при помощи своих учеников Гороховых), как незнание греческого языка не мешало Жуковскому дать классический перевод «Одиссеи»^{261}.

На основании отзыва Попова статистический комитет возвратил рукописи верхоянскому исправнику для передачи их Худякову. Но к этому времени все больше давало себя знать усиливавшееся психическое заболевание их автора.

Как рассказывал Н. С. Горохов, «болезнь началась с перемены характера: обыкновенно приветливый и словоохотливый с людьми, близкими к нему, он вдруг стал молчаливым и мрачным, сидел молча и на все предложения выйти на воздух погулять отвечал отказом»^{262}. Начало заболевания Горохов относит к концу второго или началу третьего года пребывания Худякова в Верхоянске, то есть к весне или лету 1869 года. Однако подобную перемену Трофимов заметил в Худякове еще годом раньше. Видимо, тогда это были лишь первые приступы меланхолии, весьма далекие от серьезных психических нарушений. Худякову было еще над чем работать, и его еще окрыляла надежда, что хоть эти труды не пропадут даром.

Но чем дальше, тем больше угасала вера в то, что его вернут из ссылки к нормальным условиям жизни или хотя бы переведут из Верхоянска в более благоприятную обстановку, о чем почти непрерывно хлопотала по

разным инстанциям мать. 25 мая 1868 года Александром II был издан манифест о сокращении сроков заключения всем осужденным, в том числе и политическим каторжанам. Однако эта амнистия не коснулась ни Худякова, ни Чернышевского, ни Ишутина, «как по важности совершенных ими преступлений, так и ввиду их неблагонадежности»^{263}.

Петля в отдаленнейшей ссылке затягивалась все туже. Не было выхода накопившимся духовным силам, неумемной потребности творчества и деятельности. Все беспросветной становилось будущее. И это тяжелым гнетом давило на психику, поражало нервную жизнедеятельность, разрушало работу мозга. Болезнь все больше и больше прогрессировала. По свидетельству Н. С. Горохова, Худяков «лишился сна и аппетита, затем начались бредовые идеи...»^{264} О некоторых из них мы можем судить по заключению врача Бриллиантова, обследовавшего Худякова осенью 1874 года в Якутске. Худяков, например, говорил: «Сахара страна прекрасная, она освещена светом глаз рыб». «Мяса и рыбы, — говорилось в заключении, — он в пищу не употребляет, не желая истреблять животных: он желал бы, чтобы и весь род человеческий, в видах сохранения животных, последовал его примеру в этом отношении (говорят, что такую аскетическую жизнь он ведет уже четыре года). Он неохотно употребляет и растительную пищу, — по-видимому, ему жаль и растений. Он желал бы питаться только воздухом и считает употребление пищи не потребностью, а только привычкой»^{265}.

Но долгое время душевное заболевание проявлялось приступами, перемежавшимися с нормальным мироощущением и восприятием действительности. В сохранившихся письмах к матери не только конца 1869 года, но и более поздних, все логично и ясно. Но в них уже сквозит нарастающая душевная депрессия. «Разглядев положение, в которое поставил меня приговор верховного суда, — пишет Худяков, — невольно вспоминаю слова поэта:

*Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?..»*^{266}

Это писалось в ноябре 1869 года.

Наиболее явные признаки помешательства сквозили в его заявлении на имя исправляющего должность гражданского губернатора де Витте и прокурора в Якутске летом 1870 года. В донесении де Витте

восточносибирскому начальству говорилось, что «Худяков влиянием своим на некоторых верхоянских жителей возбуждает между ними ссоры и тяжбы» и что от него поступило «прошение, заключающее в себе с дерзкими выражениями ябеднический донос на верхоянское местное начальство и других лиц». Самый факт жалобы на представителей местной власти еще, конечно, ничего не означает: это мог быть вполне резонный протест против всякого рода самоуправства и злоупотреблений. Но когда в этой же жалобе Худяков пишет, что требует себе «административных, прокурорских и судебных прав свободного человека»^{267}, то якутские власти прежде всего должны были бы задуматься, мог ли о таких вещах писать нормальный человек, о поведении которого все время давались одобрительные отзывы. Но начальство еще долго не замечало признаков душевной болезни. Оно обнаружило только, что у Худякова нет никаких средств к существованию, что ему нечем платить за «квартиру». И с января 1871 года ему было назначено казенное пособие — по 9 рублей в месяц. Но и за эти деньги никто не хотел держать у себя больного человека. Позже эту сумму увеличили до 10 или 12 рублей.

По донесению верхоянского исправника, Худяков впервые был замечен в легком умопомешательстве 23 марта 1871 года. Временами он, однако, «приходит в нормальное положение и жалуется на головную боль, — сообщалось в этом донесении, — и при всем убеждении не принимает никаких медицинских пособий, которые в Верхоянске весьма ограничены; болезнь его более и более увеличивается»^{268}.

По версии, рассказанной Н. С. Гороховым, хозяева, у которых жил Худяков, заметив неладное, сообщили об этом исправнику. Последний явился, чтобы выяснить, в чем дело. Худяков «встретил его неласково, и тот велел его вести в казачью караулку, где его держали долго, никого к нему не допускали...»^{269}

Находясь уже в психиатрическом отделении иркутской больницы, сам Худяков говорил, что в 1871 году у него появились галлюцинации «религиозного содержания», которым «предшествовал период совершенного беспамятства»^{270}.

Извещенный о состоянии Худякова генерал-губернатор Восточной Сибири Н. П. Синельников отнесся к этому сообщению с недоверием и заподозрил симуляцию «в видах послабления за ним надзора и затем даже побега»^{271}. Не помогли и новые хлопоты матери, узнавшей о болезни сына, относительно перевода его в Иркутскую или Томскую губернии и разрешения с ним проживать. Она повсюду встречала отказ.

А из Верхоянска из месяца в месяц сообщалось, что состояние Худякова не улучшается. Якутский губернатор докладывал о том же в Иркутск. Но Синельников стоял на своем. Переписка между якутскими и иркутскими властями продолжалась несколько лет. Лишь в декабре 1873 года Синельников, наконец, решился запросить III отделение, нельзя ли перевести Худякова в Якутск. Разрешение было дано, но пока оно достигло Верхоянска, пока решились его везти в Якутск, прошло не менее восьми месяцев. А болезнь тем временем прогрессировала.

Худяков был доставлен в Якутск только 31 августа 1874 года. Ни отделения для душевнобольных, ни врачей-психиатров в якутской больнице не было. Освидетельствовавший его Бриллиантов пришел к заключению, что «умственные способности у Худякова не в порядке», но тем не менее считал, что для окончательных выводов требуется «более или менее продолжительное время для наблюдения за этим субъектом»: он страховался на всякий случай.

В заключении Бриллиантова говорилось, что Худяков «угрюм и, по-видимому, чем-то озабочен», что «он пускается без всякого к тому повода в длинные и бесконечные рассуждения о разных предметах, касаясь при этом вопросов политических, политико-экономических, религиозных, анатомо-физиологических и проч.», что «память имен и событий у него довольно хороша, и говорит он не без смысла, но в изложении мыслей нет последовательности и ясности», а «иногда высказывает и явные нелепости». И все же в этом расстроенном мозгу сохранялась какая-то неудержимая потребность творчества. «Днем он занимается письмом, — продолжал Бриллиантов, — и трудно разобрать, что он пишет. При письме он следует новому, им будто бы придуманному методу, пишет он снизу от правой руки к левой и этот метод считает выгоднейшим для органов зрения»^{272}.

Между тем мать продолжала свои хлопоты. В то же время и якутские власти пришли к выводу, что содержание Худякова в якутской больнице бесполезно, что его надо направить «в одно из специальных заведений, где имеются все средства для лечения подобного рода больных, как, например, в гор. Казани»^{273}. Пока шла новая переписка с III отделением, минуло еще полгода. О Казани, конечно, нечего было и помышлять, речь шла хотя бы об Иркутске.

Только в июле 1875 года Худяков был доставлен в Иркутск. Его сопровождали конвойный из казаков и несчастная мать, поехавшая за ним в Якутск, чтобы ускорить дело. Худякова поместили в Кузнецовскую

больницу, в отделение для душевнобольных. Но было уже поздно...

В тот год в Иркутске находился в ссылке участник революционной борьбы Н. П. Гончаров. Он навещал Худякова в больнице. То, что он увидел, «было какое-то мучительное переживание ужаса», Худяков «имел вид первобытного существа... Во всем потоке слов, не касаясь политики, чувствовалось большое напряжение, стремление проникнуть во что-то непостижимое — тайну, — окутавшую его судьбу. Слова, не застревая, бурно неслись в беспорядочном хаосе. Все черное, мрачное затопило его когда-то светлые мысли. Вечное одиночество грезилось и тогда, когда окружали его страдающие материнские глаза и нежная любовь. Порой он быстро повторял все одну фразу, произнесенную министром юстиции при обряде публичной казни: «Даровать жизнь Николаю Ишутину»^{274}.

И здесь, как в Якутске, а до того в Верхоянске, он продолжал писать по целым дням, писал сверху вниз, справа налево, заполнял целые страницы цифрами, что-то высчитывал, над чем-то задумывался. Среди этих записей встречаются вполне логичные, сплетающиеся с бредовым набором фраз и слов.

Немногим более года пробыл Худяков в иркутской больнице. Через несколько месяцев умерла его мать, а 19 сентября 1876 года скончался и он. И над ним, мертвым, по-прежнему тяготело «высочайшее повеление» о полной изоляции от единомышленников, друзей, родных.

Родственникам не позволили самим похоронить Худякова. Он был погребен в одной могиле с двумя неизвестными покойниками, случайно оказавшимися в анатомическом театре. Могила была вырыта в больничной части иркутского кладбища, где хоронили бездомных и неизвестных бродяг. И даже в этот последний путь «государственного преступника» сопровождал конвой. Над могилой не разрешили поставить ни памятника, ни плиты, ни креста...

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СЛЕДАМ ВЕРХОЯНСКИХ РУКОПИСЕЙ

...Существуют системы линейных уравнений, имеющие ровно одно решение, бесконечное множество решений и, наконец, совсем не имеющие решения.

Из «Учебного пособия для учащихся 9-го класса средней школы».

Историческую науку нельзя уложить в математические формулы: у нее свои законы, своя специфика. И тем не менее, когда историк не располагает достаточными данными об исторических событиях, когда, воссоздавая картину прошлого, он не нашел фактов, заполняющих «белые пятна», закон системы линейных уравнений об однозначности или множественности возможного решения для него столь же обязателен, как и для математика. Лучше показать разнообразие решений, чем, произвольно выбрав одно, исключить все другие на основании одних логических построений.

Конечно, наука невозможна без логических построений, догадок и гипотез. Но как их ни назови и будут ли они остроумны или плоски, догадки всегда останутся только догадками, то есть одним из возможных вариантов решения, способным как приблизить к искомому факту, так и направить поиск в диаметрально противоположную сторону.

Но у исторической науки есть одно несомненное преимущество перед математикой. Если для математика $x + y + z$ и т. д., при известной величине только одного x , всегда означает множественность ответов, то у историка неизвестные ранее величины в результате поиска или неожиданных находок могут стать известными, заполнить недостающие звенья уравнения и в итоге привести ответ от множественности к однозначности.

Так получилось и с некоторыми из верхоянских рукописей Худякова, судьба которых долго была неизвестна и раскрывалась лишь постепенно на протяжении целого столетия.

Пожалуй, трудно назвать имя писателя, чьи труды прошли бы столь фантастический путь, какой выпал на долю верхоянских рукописей

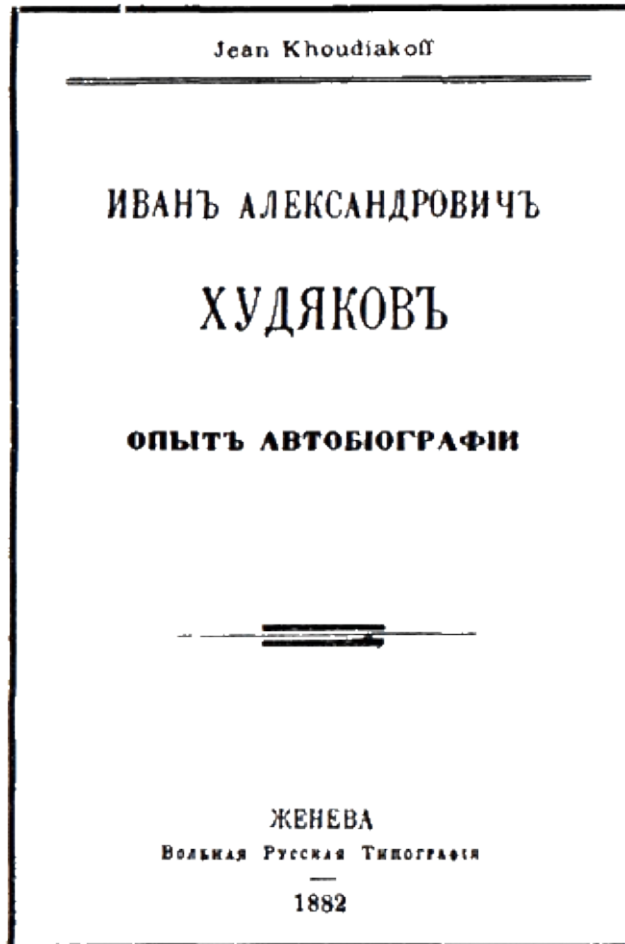
Худякова. Долгие годы и десятилетия о них вообще ничего не знали. Лишь глухие сведения о литературных занятиях Ссылного писателя-революционера в Верхоянске проникали в зарубежную печать. Так, в 1874 году, когда Худяков был еще жив, но безнадежно болен, в неперIODическом обозрении П. Л. Лаврова «Вперед!», в корреспонденции «Из Иркутска», говорилось, что Худяков составил якутско-русский словарь и грамматику и написал еще какие-то статьи. Корреспонденция принадлежала Г. А. Лопатину. В начале семидесятых годов он находился в Сибири. С Худяковым Лопатин здесь не встречался, в Якутскую область он не заезжал и узнать о литературных работах Худякова мог либо от его родственников, живших в Иркутске, либо от кого-нибудь из чиновников канцелярии генерал-губернатора.

Не большими сведениями располагал Лопатин и два года спустя, когда после смерти Худякова повторил то же самое в своих о нем воспоминаниях, напечатанных в лавровском двухнедельном обозрении (газете) под тем же названием «Вперед!».

Самый перечень верхоянских трудов Худякова стал известен только в советское время, когда перед исследователями были открыты архивы. В 1926 году Б. Кубалов опубликовал статью о Худякове на основании обнаруженной им в архиве канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири переписки якутского губернатора с восточносибирскими властями. По этой переписке удалось установить, что именно писал Худяков в Верхоянске и как отнеслись власти к его трудам. Но самих рукописей в делах канцелярии не было. Как говорилось в переписке, они возвращались верхоянскому исправнику для передачи Худякову.

Некоторые любопытные детали о верхоянских рукописях Худякова по якутским архивам выяснил и опубликовал С. С. Шустерман. Но и в Якутске не нашлось ни одной из этих рукописей.

Существует мнение, что рукописи вообще не возвращались Худякову, а оставались у исправника. Это как будто бы подтверждает и его письмо к матери от 20 августа 1871 года, в котором Худяков жалуется, что не имеет ответа от якутских властей, почему до сих пор не напечатаны его труды^{275}. Между тем Якутский статистический комитет возвратил их верхоянскому исправнику 19 декабря 1869 года. Но можно ли вполне доверять словам душевнобольного, который в том же самом письме признавался, что у него не стало «свободной памяти»?^{276}



Титульный лист книги И. А. Худякова

«Опыт автобиографии».

Есть некоторые основания считать, что рукописи Худякову действительно возвращали. По наблюдениям Пекарского, Худяков вносил в них позднейшие поправки после замечаний Д. Попова. Как утверждала родственница Худякова Глазырина, местные власти в Верхоянске устраивали частые обыски у Худякова, отбирали вещи, бумагу и рукописи^{277}. Это же говорит и сибирский публицист Белозерский^{278}. Следовательно, раньше, чем их отбирали, рукописи должны были вернуться к Худякову.

Некоторые записи Худякова неведомыми путями попали на Кару к

политическим каторжанам. Народолюб П. Ивановская сообщила, что в конце восьмидесятых годов в женскую карийскую тюрьму из мужской была прислана нелегально «маленькая записная книжечка в два вершка длины, в кожаном переплете». На ней не значилось, кому она принадлежала, но приславшие ее мужчины считали, что это книжка Худякова, его дневник. Ивановской запомнились те слова, которыми, как она позже узнала, заканчивались воспоминания Худякова, его «Опыт автобиографии»^[279].

Многое из того, что писал Худяков в Верхоянске, бесследно пропало, и кто знает, будет ли когда-нибудь найдено. Это далеко не редкий случай в истории русской литературы. Но то немногое, что сохранилось, прошло поистине легендарный путь и было обнаружено спустя годы и десятилетия и притом самым необычайным образом. Речь идет об «Опыте автобиографии», так называемом «Верхоянском сборнике» и «Кратком описании Верхоянского округа».

«Опыт автобиографии» — первое верхоянское произведение Худякова, увидевшее свет. Впервые оно было опубликовано за рубежом в 1882 году. Это тоненькая книжечка, форматом в восьмую долю листа. Книжечке было предпослано «Предисловие издателей», включавшее в себя и статьи из «Вперед!», посвященные смерти Худякова. Текст местами сопровождался редакционными примечаниями.

Все было загадочно в этом издании — и имена издателей, и откуда получили они текст, и кому принадлежало заглавие — «Опыт автобиографии» — автору или издателям? Из предисловия становилось известно только одно: книжка печаталась не по автографу, а по двум копиям, некоторые фамилии обозначались в ней буквами, а не полными именами «по желанию собственников рукописи». Стало быть, существовала и подлинная рукопись Худякова, остававшаяся у неизвестных ее владельцев.

Возникали новые вопросы: кто эти владельцы, как передали они снятые с рукописи копии, что значит «две копии» — два экземпляра? На все эти вопросы очень долго никакого ответа не было.

Женевское издание, значившееся в числе запрещенных в России книг, могло получить внутри страны очень слабое распространение. В несколько сокращенном виде «Опыт автобиографии» был перепечатан почти четверть века спустя, в годы первой русской революции в журнале «Исторический вестник» (1906, № 10–12) под заглавием «Из воспоминаний шестидесятника» и лишь тогда стал достоянием русского читателя. Но загадки еще очень долго оставались загадками. Достаточно сказать, что

лучший биограф Худякова, советский историк М. М. Клевенский, переиздавая его воспоминания в 1930 году, не мог ответить ни на один из поставленных вопросов. «Когда и каким путем рукопись была передана за границу, — писал он, — у нас нет сведений»^{280}. Воспоминаниям Худякова он дал свое заглавие: «Записки каракозовца», несомненно, потому, что предположил, будто название «Опыт автобиографии» принадлежало женевским издателям.

Не мог ответить на загадочные вопросы и другой советский исследователь — Л. Н. Пушкарев, перу которого принадлежат две обстоятельные статьи, посвященные разбору трудов Худякова. Он высказал предположение, что Худяков сам переправил свою рукопись за границу и что первым ее публикатором был Л. Дейч^{281}. Не касались этих вопросов и исследователи последнего десятилетия — С. С. Шустерман, пополнивший отдельными деталями сведения Б. Кубалова о верхоянском периоде жизни Худякова^{282}, и В. Г. Базанов, автор нескольких обширных работ о Худякове, обогативший наши знания новыми важными материалами. Он ввел в научный оборот донесения Трофимова, опубликовав их полностью и сопроводив собственной исследовательской статьей, и переиздал совместно с О. Б. Алексеевой «Великорусские сказки» Худякова, предпослав им развернутую вводную статью «Накануне «хождения в народ», в которой содержатся и новые материалы и анализ деятельности Худякова^{283}.

Но хотя Базанов не касался специально вопроса о верхоянских рукописях Худякова, однако благодаря его работам стали известны два чрезвычайно важных факта об этих рукописях.

Еще в 1959 году из его статьи «Новые люди или нигилисты?» читатели и исследователи узнали, что в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) хранится подлинная рукопись «Опыта автобиографии», в тексте которой есть места, не вошедшие в женевское издание, в частности приведенные В. Г. Базановым в этой статье отзывы Худякова об участнике освободительного движения эпохи падения крепостного права М. Я. Свириденко^{284}.

По следам данного сообщения автор настоящей книги ознакомился с рукописью. И тогда стало понятно, почему женевские издатели в своем предисловии упоминали о полученных ими двух копиях: в рукописи два варианта некоторых глав. Выяснилось, что заглавие «Опыт автобиографии» принадлежит самому Худякову, а не издателям. Наконец, при сличении автографа с женевским изданием обнаружилась неполнота последнего (взят был лишь один из вариантов), а также ошибки и неисправности при

копировании.

Грешным делом, при первом знакомстве мы приняли эту рукопись за черновую, первоначальную. Но это оказалось не так. Все, что стало потом известно, говорит об одном — рукопись, хранящаяся в Пушкинском доме, единственный подлинник «Опыта автобиографии».

Встал новый вопрос: откуда взялась эта рукопись, как она сохранилась и попала в Рукописный отдел Пушкинского дома?

И тут мы снова нашли важный элемент для поисков в другой работе В. Г. Базанова, в упоминавшейся вводной статье к переизданию «Великорусских сказок». В этой статье автор привел отрывок из обзора А. М. Астаховой «Рукописное хранилище при фольклорной секции Института археологии и этнографии Академии наук СССР», в котором сообщалось, что рукописное хранилище располагает бумагами И. А. Худякова, включающими его воспоминания^{285}. К сожалению, из справки Астаховой не ясно, откуда поступила эта рукопись в хранилище института. Обзор был напечатан еще в 1935 году в сборнике «Советский фольклор», но, очевидно, прошел незамеченным. Именно в предисловии Базанова к «Великорусским сказкам» встречается первое упоминание о нем.

Фольклорные материалы из Института археологии и этнографии были затем переданы в Пушкинский дом и вместе с ними рукопись «Опыты автобиографии». Это, однако, конец истории воспоминаний Худякова. Надо было разыскивать средние звенья. И тут случайно была обнаружена, оставшаяся тоже незамеченной, другая публикация середины тридцатых годов, проливающая свет на вопрос об издателях женевского «Опыта автобиографии».

В том же году, когда был напечатан обзор Астаховой, в «Литературном наследстве» (т. 19–21) биограф П. Л. Лаврова Ф. Витязев опубликовал переписку Г. З. Елисеева с П. Л. Лавровым. Елисеев, в то время один из редакторов «Отечественных записок», в конце 1881 года уехал из Петербурга за границу, где провел несколько лет. В письме к Лаврову от 10 июня 1882 года он пишет о первом листе какой-то корректуры, полученной от Лаврова, которую он уже прочел и отправил Лаврову, одобрительно отозвавшись о шрифте^{286}. О какой корректуре шла речь, выясняется из следующего письма — от 9 августа. Здесь Елисеев пишет: «Посылаю Вам проект моего примечания на упрек, сделанный Худяковым Некрасову»^{287}. В «Опыте автобиографии» Худяков очень резко отозвался о Некрасове в связи с его стихами, адресованными М. Н. Муравьеву после выстрела 4 апреля. В женевском издании воспоминаний Худякова

действительно имеется примечание к этому отзыву, а в архиве Елисеева сохранился и его проект, который, однако, помещен в книжке не был^[7]. Как выясняется из письма Елисеева к Лаврову от 9/21 сентября того же года, опубликованное примечание принадлежало Лаврову^{288}.

Переписка Елисеева с Лавровым — прямое свидетельство того, что «Опыт автобиографии» издавался Лавровым при самом непосредственном участии Елисеева, которому на просмотр посылались корректурные листы и которого Лавров все время информировал о ходе печатания.

Без этой переписки было бы трудно заподозрить в Лаврове издателя воспоминаний Худякова. Хотя в предисловии к «Опыту автобиографии» и приведены большие отрывки из газеты и журнала «Вперед!», хотя в самом предисловии проступают общие политические воззрения Лаврова, однако, будучи политическим эмигрантом, он давно уже не выступал в печати анонимно, а напротив, всегда открыто ставил свое имя. И это исключало всякие предположения о его причастности к изданию. Так часто рушатся логические построения при столкновении с фактами. Лавров не считал удобным выступать единолично как издатель, когда в издании фактически участвовало и другое лицо. А это лицо — Елисеев — один из редакторов легального журнала — не мог рисковать своим положением.

Так раскрылась еще одна загадка, связанная с публикацией «Опыта автобиографии». Ф. Витязев высказал предположение, что Елисеев и привез с собою худяковскую рукопись.

Публикация Ф. Витязева при всей своей важности не вошла в наиболее полные списки литературы о Худякове, хотя С. А. Макашин в комментариях к документам, касающимся Н. А. Некрасова, снова рассказал об этих разысканиях^{289}.

Но совершенно невероятным может показаться тот факт, что незамеченной оказалась статья, входившая во все списки работ о Худякове, начиная с библиографии, составленной М. М. Клевенским в 1930 году и кончая списком, приложенным к переизданию «Великорусских сказок», — статья, раскрывающая историю нахождения рукописи и передачи ее копий за границу. Раньше чем рассказать о ней, проверим, мог ли сам Худяков, как это считает Л. Н. Пушкарев, переслать рукопись из Верхоянска.

Казалось бы, что в пользу такого мнения есть некоторые данные. В январе 1877 года, то есть вскоре после смерти Худякова, в газете «Общее дело», издававшейся в Женеве политическим эмигрантом, участником революционного движения начала шестидесятых годов А. Х. Христофоровым, была напечатана статья «Материалы для истории цензуры

при Александре II (извлечение из бумаг И. А. Худякова)». Здесь был приведен его рассказ о мытарствах в духовной цензуре, в целом совпадающий с тем же рассказом в «Опыте автобиографии». Возможно, что именно на этом основании и сделал свое заключение Л. Н. Пушкарев. Однако сличение этой статьи с соответствующим местом в «Опыте автобиографии» показывает, что она не являлась отрывком из воспоминаний: в «Опыте автобиографии» дан лишь сокращенный пересказ того, что подробно описывалось в статье. Мы уже высказали предположение, что статья писалась Худяковым во время его пребывания в Женеве в 1865 году. Возможно, что Элпидин и опубликовал ее в «Общем деле». Во всяком случае, в рукописи «Опыта автобиографии» этой статьи-воспоминаний нет.

Для пересылки рукописи требовались прежде всего посредники, так как вся официально проходившая переписка Худякова находилась под строжайшим контролем якутских, иркутских, а иногда и петербургских властей. Никого из политических ссыльных в то время в Верхоянске не было. Круг лиц, с которыми общался Худяков, был чрезвычайно узок. Таким посредником не мог быть, например, Трофимов, предлагавший свои услуги: он послал бы рукопись не в Женеву, а в Петербург, и она оказалось бы не у Лаврова, а в III отделении. Н. С. Горохов был еще слишком молод и неискушен, чтобы Худяков доверил ему отправку своих воспоминаний. Недаром, как он сам рассказывал, Худяков читал ему только ту часть «Опыта автобиографии», где освещались его детство и студенческие годы. Остается Г. Майдель, человек далекий от социальных проблем, но весьма сочувственно, как мы знаем, относившийся к Худякову. Такой вариант был бы возможен. В XIX веке редко кто отказывал политическим ссыльным в выполнении небольших личных поручений. Но это та возможность, которая не стала действительностью.

Ф. Витязев, высказавший предположение, что рукопись воспоминаний Худякова вывез за границу Елисеев, не знал, как она попала к нему.

И вот перед нами лист старой сибирской газеты, издававшейся в Томске группой прогрессивных общественных деятелей. Название ее «Сибирская мысль», год — 1907-й, число — 4 апреля — сорок первая годовщина каракозовского покушения, номер 130. В этом номере начала печататься статья Белозерского «Иван Александрович Худяков. (Из воспоминаний шестидесятника. Автобиография. «Исторический вестник», октябрь, ноябрь, декабрь)». Статья являлась кратким пересказом первой легальной перепечатки «Опыта автобиографии». Ее продолжение печаталось в следующих номерах той же газеты, а окончание, в связи с

закрытием «Сибирской мысли», в «Сибирской жизни» № 3. В списках литературы о Худякове, приложенных к книжке М. М. Клевенского, к статье Л. Н. Пушкарева и «Великорусским сказкам» Худякова, переизданным В. Г. Базановым и О. Б. Алексеевой, эта статья упоминается, но не со 130-го номера. Между тем именно в нем изложена история нахождения и дальнейшего пути рукописи «Опыта автобиографии».

Вот что пишет об этом Белозерский: «...Эту рукопись случайно углядел в секретном архиве Иркутского губернского правления Н. В. Садовников, бывший в то время поверенным и секретарем Иркутской городской думы. Вместе с нею он видел и другие рукописи Худякова, сборники сказок и проч. Заинтересовавшись открытием, Садовников взял из рукописей автобиографию и передал ее Г. Н. Потанину, от которого она затем перешла через Н. М. Ядринцева к Г. З. Елисееву, а им переслана за границу, где и была впервые напечатана... Из числа названных нами лиц, через которых подвигалась эта рукопись на Запад, ее внимательно прочитал Н. М. Ядринцев и познакомил с ее содержанием своих друзей. «Все мы там есть», говорил он и передавал и такие вещи, которых нет в появившейся автобиографии в «Историческом вестнике»^[290]. Теперь мы знаем, кому должны быть благодарны за спасение автографа Воспоминаний Худякова.

Можно подумать, что Белозерский и был в числе тех друзей Ядринцева, которые слышали его рассказ. В статье Белозерского содержатся некоторые подробности о совместной жизни Худякова с Потаниным и Ядринцевым в Петербурге на рубеже 1862–1863 годов, причем такие, каких нет в «Опыте автобиографии». Лишь много позднее — в 1913 году — то же самое расскажет в своих воспоминаниях Потанин. Это вызывает доверие к словам Белозерского. Его рассказом подтверждается и известный уже нам факт: «Опыт автобиографии» оказался у Елисеева.

Но чтобы окончательно убедиться в том, насколько достоверно свидетельство Белозерского, надо выяснить, кто он такой. И тут мы сталкиваемся с новой загадкой. Ни в одном справочном издании не встречается сибирский журналист с такой фамилией или псевдонимом. Некий Н. Белозерский опубликовал в 1902 году в журнале «Русская мысль» статью «От Петербурга до Нерчинска». Это было вольное изложение отрывка из «Записок» поэта-революционера М. Л. Михайлова о его пути через Сибирь на каторгу и о его сибирских впечатлениях. Опять сибирская тема в ее переплетении с жизнеописанием революционеров, опять та же самая фамилия автора.

Мы начали свой поиск с пересмотра всех работ о Худякове-сибиряке: именно литераторы Сибири обычно подчеркивали сибирское

происхождение Худякова. И в одной из таких работ нашли нить для дальнейших поисков. В 1911 году вышла небольшая брошюра «Славный сибиряк И. А. Худяков». На обложке значится автор «А — в», место издания — Санкт-Петербург. Брошюра эта оказалась перепечаткой знакомой уже нам статьи Белозерского. В ней, правда, были выброшены интересующие нас подробности о рукописи «Опыта автобиографии» и «Верхоянского сборника» (о чем речь будет ниже), но во всем, что касается воспоминаний самого Худякова, она повторяет слово в слово статью из «Сибирской мысли». Стало быть, тот же Белозерский выступил теперь под псевдонимом «А — в». Но и под этим псевдонимом в справочных изданиях ни один сибирский автор не значится.

У М. М. Клебенского в списке литературы о Худякове рядом с криптонимом «А — в» поставлена фамилия — Адрианов. Такой сибирский журналист, один из видных сотрудников и редакторов «Сибирской мысли» и «Сибирской жизни», действительно — существовал. Звали его Александр Васильевич. Установил ли Клебенский авторство Адрианова по каким-то документальным данным или же это была его догадка, мы не знаем. Не знаем, почему прошло для него незамеченным полное совпадение брошюры «Славный сибиряк И. А. Худяков» и статьи Белозерского. Но сведения (или догадка) Клебенского подтвердились.

В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) сохранилась пачка писем А. В. Адрианова к публицисту-народнику А. И. Иванчину-Писареву. В этой пачке есть два письма, касающиеся интересующей нас брошюры и статьи. Из них мы узнаем, что еще в то время, когда в газете печаталась статья о Худякове, Адрианов, ее автор, подготовил оттиски статьи для отдельного издания. По словам Адрианова, газету из-за статьи о Худякове чуть было не закрыли (потому и конец ее печатался в «Сибирской жизни»), и он, опасаясь конфискации оттисков, которые были отпечатаны в количестве двух тысяч экземпляров, хранил их в типографии. В 1910 года Адрианов заказал в Петербурге обложку и просил Иванчина-Писарева помочь ему с ускорением ее печатания. Так появилась брошюра^{291}.

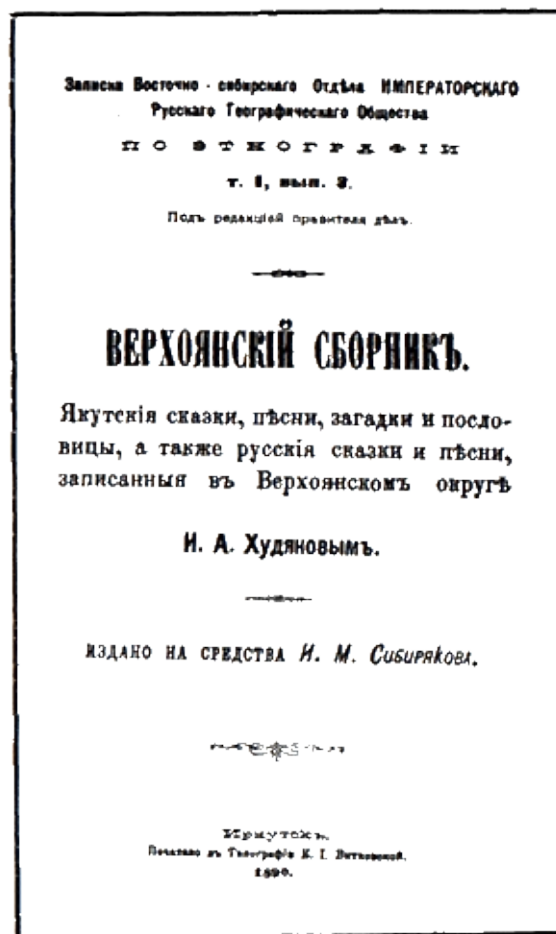
Теперь, когда нам достоверно известно, кто был автором статьи о Худякове, мы можем отнестись с полным доверием к его рассказу о рукописи «Опыта автобиографии». Адрианов был видным общественным деятелем и публицистом Сибири, неоднократно арестовывавшимся и ссылавшимся за свою деятельность царскими властями. Он был близок с Потаниным и Ядринцевым и непосредственно от них знал то, что рассказал в своей статье.

Вот и разгадка таинственного пути, который прошла рукопись Худякова. Переслал ли ее Елисеев, как пишет Адрианов (Белозерский), или лично привез за границу, как предположил Витязев, — это уже не суть важно. Интересней другое — как она попала в Иркутское губернское правление.

С подобными фактами автору настоящих строк уже приходилось сталкиваться. Так называемые «вещественные доказательства» — бумаги, изымавшиеся во время обысков и арестов у политических и государственных «преступников», — передавались за минованием в них надобности (если не подшивались к делам) в губернские правления и далее шли к управу благочиния. Такой путь прошли бумаги большинства арестованных по делу Каракозова, к сожалению, погибшие при пожаре вместе с архивом управы благочиния.

Рукописи Худякова могли попасть в Иркутское губернское правление двумя путями. В том случае, если их отбирал при обысках верхоянский исправник, они как «вещественные доказательства» следовали через канцелярию якутского губернатора в Иркутск. Если же они оставались в вещах Худякова до его смерти, то поступили в архив правления как бумаги умершего «государственного преступника». Может быть, и сейчас в дебрях архивных дел Иркутского губернского правления, куда редко заглядывают исследователи, хранятся какие-нибудь бумаги писателя-революционера.

Рассказ Адрианова не открывает нам, однако, где же находилась подлинная рукопись «Опыта автобиографии» после того, как копии увез за границу Елисеев. В обзоре А. М. Астаховой говорится о поступлении в хранилище Института археологии и этнографии двух рукописей Худякова. Кроме воспоминаний, там имелась (и сейчас она тоже в Пушкинском доме) рукопись этнографической работы «Краткое описание Верхоянского округа». О том, как попала эта последняя рукопись в государственное хранилище, мы кое-что узнали, но кто передал туда автограф «Опыта автобиографии», установить не удалось.



Титульный лист «Верхоянского сборника» И. А. Худякова.

Следующим произведением Худякова, писавшимся в ссылке и увидевшим свет через двадцать с лишним лет после написания, был так называемый «Верхоянский сборник». Он издан в Иркутске в 1890 году ВосточноСибирским отделом Русского географического общества на средства богатого промышленника — мецената И. М. Сибирякова. В предисловии к этому изданию говорилось, что до Географического общества дошли слухи о существовании некой краеведческой рукописи Худякова, которая и разыскивалась в 1880 году в архиве канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири, однако безуспешно. Через пять лет, в 1885 году, генерал-губернатор граф А. П. Игнатьев получил от исправника Балаганского округа Иркутской губернии Бубякина

краеведческую рукопись неизвестного автора в сопровождении следующего письма: «На распоряжение вашего сиятельства имею честь представить составленные неизвестным лицом записки, переданные мне верхоянскою мещанкою Хресиєю Гороховою, теперь умершею. 27-го марта 1885 г. Село Тулун»^{292}.

Рукопись содержала собрание якутских сказок, песен, загадок и пословиц на двух языках — якутском и в русском переводе, а кроме того, местные русские сказки и песни. Игнатъев, будучи «покровителем» Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, находившегося в Иркутске, и передал туда рукопись. Принадлежность ее Худякову была установлена на основании следующих соображений.

Во-первых, в те годы, когда она писалась, в Верхоянске, кроме Худякова, не было ни одного лица, которое могло бы проделать работу по сбору фольклорного материала. Во-вторых, был установлен факт знакомства Худякова с Хресиєю Яковлевной Гороховой, очевидно родственницей или женой Н. С. Горохова. В-третьих, люди, лично знавшие Худякова, признали в рукописи его почерк.

Иначе выглядит этот рассказ в передаче Белозерского. По его словам, балаганский исправник, до того бывший исправником в Верхоянске (Белозерский называет его не Бубякиным, а Бубашевым), удержал у себя «на память» рукопись Худякова, то есть, очевидно, забрал ее при обыске. Никакой Хресии Яковлевны Гороховой в рассказе Белозерского не существует. Возможно, Бубякин — Бубашев придумал эту версию, сославшись к тому же на умершую женщину, чтобы дать «приличное» объяснение, как попала к нему худяковская рукопись.

О том, что у исправника имеется автограф Худякова, стало известно Восточно-Сибирскому отделу Географического общества. «Возник вопрос, как выручить эту рукопись», — пишет Белозерский. Из этого можно заключить, что ее не разыскивали в архиве: адрес был точно известен. Но Бубашев хотел нажиться на литературном наследии Худякова. «Один из местных чиновников, В. Л. Приклонский, — рассказывает далее Белозерский, — особенно усердствовал за интересы исправника и советовал купить у него рукопись за 300 руб., предостерегая, что в противном случае Бубашев ее сожжет. Употребили, однако, другой прием — уговорили «покровителя» отдела, бывшего в то время иркутским генерал-губернатором, графа А. П. Игнатъева, написать исправнику Бубашеву письмо. Последнее, разумеется, достигло цели, и рукопись была «пожертвована» отделу^{293}. Версия Белозерского фактически не

противоречит официальной, она лишь вскрывает всю закулисную историю нахождения рукописи, которой был придан в предисловии более благообразный вид, а Бубякин — Бубашев выставлен «жертвователем».

Таким образом другая верхоянская рукопись Худякова увидела свет через 22 года после ее создания и через 14 лет после смерти автора. Но и тогда она была опубликована не целиком. Якутские тексты сказок, загадок и преданий в нее не вошли, был напечатан только их русский перевод. Якутский же подлинник выпустил в 1913 и 1918 годах Э. К. Пекарский. Он же по выходе «Верхоянского сборника» обратил внимание на неисправность перевода и плохое редактирование работы.

В предисловии к «Верхоянскому сборнику» отмечалось, что в этой работе имеются ссылки на какой-то первый том^{294}. Публикаторы на этом основании пришли к справедливому выводу, что, кроме данного, должен существовать еще какой-то этнографический труд Худякова. И действительно, как мы знаем из исследований Б. Кубалова, Худяков направлял в Якутский статистический комитет две краеведческие рукописи: «Краткое описание Верхоянского округа» и «Материалы для характеристики местного языка, поэзии и обычаев». Сам Кубалов высказал предположение, что «Материалы...» и являлись той рукописью, которую искали в 1880 году и которая, следовательно, была первым томом, а «Верхоянский сборник» вторым^{295}. Однако среди им же самим установленных верхоянских работ Худякова не было труда под названием «Верхоянский сборник». К сожалению, издатели не дали в своем предисловии описания рукописи и не указали, им или автору принадлежит это заглавие.

Можно, конечно, предположить, что «Верхоянский сборник» был составлен Худяковым позже и не посылался в Якутский статистический комитет. Но такое предположение имеет весьма мало оснований. Ведь как раз в то время, когда в статистическом комитете рассматривались рукописи Худякова, у него уже началось психическое заболевание, правда перемежавшееся еще с периодами нормального мышления. Кроме того, такая гипотеза опровергается вескими данными, указывающими на то, что в статистический комитет посылалась работа, вышедшая позже под названием «Верхоянский сборник».

В письме епископа Дионисия якутскому губернатору говорится, что ему были даны на заключение, кроме словарей, «якутские саги, песни, загадки и др.»^{296}, то есть как раз то, из чего и состоит «Верхоянский сборник». В просмотренной им рукописи имелись параллельные тексты —

якутские и их русский перевод. То же было и в рукописи, с которой печатался «Верхоянский сборник». Но решающий довод мы находим в «Заметке по поводу редакции «Верхоянского сборника» И. А. Худякова», принадлежащей Э. К. Пекарскому и опубликованной в 1895 году. Пекарский ознакомился с рукописью, по которой печатался «Верхоянский сборник», и нашел в ней карандашные пометки, сделанные рукой протопопа Д. Попова^{297}. А как мы знаем, к Попову на отзыв поступили через епископа Дионисия две краеведческие рукописи Худякова. Следовательно, «Верхоянский сборник» — это одна из этих рукописей, заглавие которой было дано не Худяковым, а публикаторами.

Остается другой вопрос: которая из двух рукописей была напечатана под этим заглавием? На него невозможно было бы ответить, если бы спустя 23 года после выхода «Верхоянского сборника» (и без малого через 45 лет после написания) не стал известен факт существования еще одной худяковской рукописи, озаглавленной, как и посланная в Якутский статистический комитет, — «Краткое описание Верхоянского округа».

В 1913 году в журнале «Сибирский архив», издававшемся в Иркутске, промелькнула небольшая заметка И. А. Миронова «Ценная рукопись И. А. Худякова», в которой автор сообщал, что его знакомый, отставной чиновник А. М. Каблуков, купил в 1879 году в Иркутске какую-то рукопись у человека, несшего ее продавать в мелочную лавку на обертки. Рукопись была озаглавлена «Краткое описание Верхоянского округа». В заметке перечислялись названия глав (их было 16 и 8 в разделе «Дополнения»), дававшие представление о содержании рукописи. Миронов пришел к выводу, что автором ее являлся Худяков. «В настоящее время г. Каблуков, — заключал свою заметку Миронов, — по моему и других лиц настоянию, хочет списаться с Императорским Русским Географическим обществом в С.-Петербурге относительно издания рукописи. Может быть, он соберется это сделать наверное, но тем не менее отметить в печати об этой рукописи теперь прямо необходимо»^{298}.

В этих словах Миронова сквозит опасение, что Каблуков может не последовать настоятельным советам и не передаст рукопись в Русское географическое общество. И именно поэтому он спешит оповестить о ее существовании, содержании и местонахождении. И действительно, рукопись осталась у Каблукова, а затем перешла к его наследникам. Но об этом долгое время никто не знал, и след ее казался утерянным.

Нам представляется сомнительной версия о встрече Каблукова с неким человеком, пытавшимся продать рукопись Худякова на обертки. И не

потому, что такие вещи кажутся невозможными: они не раз случались, а именно на основании приведенных слов Миронова. Непонятно, почему Каблуков, спасший рукопись от уничтожения и, следовательно, затративший на нее какую-то сумму денег, хранит ее у себя и не поддается настояниям знакомых — не передает или не продает ее для публикации? Зачем в таком случае он ее приобретал? Не логичнее ли предположить, что и Каблуков, подобно Садовникову, тайно унес рукопись из секретного архива Иркутского губернского правления, а историю с ее покупкой просто придумал. Это, разумеется, требует проверки.

Заметка Миронова была не замечена Б. Кубаловым и Э. К. Пекарским. Впервые она упомянута в библиографии М. М. Клевенского.

О судьбе «Краткого описания Верхоянского округа» долгое время в печати ничего не появлялось. Так, даже в 1949 году Л. Н. Пушкарев (не знавший обзора Астаховой) сетовал по поводу ее пропажи^{299}. А рукопись Худякова уже лежала в то время в государственном хранилище и о ней знали некоторые специалисты-краеведы. В обзоре Астаховой сообщалось: «Рукопись, считавшаяся утраченной, найдена была в одном из городов Восточной Сибири и передана в фольклорную секцию. Представляет исключительную ценность, так как содержит неопубликованную первую часть большой работы, посвященной описанию Верхоянского округа»^{300}. Позже все материалы фольклорной секции Института археологии и этнографии перешли в фольклорную секцию Института русской литературы.

Как сообщила нам вдова крупного советского фольклориста и краеведа М. К. Азадовского, рукопись в 1934 году была приобретена последним у наследников Каблукова в Красноярске. Сохранились письма М. К. Азадовского, касающиеся ее приобретения. Они вместе с другой перепиской ученого готовятся к публикации.

Может быть, одновременно с этой книгой, а возможно и раньше, увидит, наконец, свет и «Краткое описание Верхоянского округа». Оно уже подготовлено к печати сотрудниками Пушкинского дома совместно с якутскими исследователями. В. Г. Базанов, принимающий самое непосредственное участие в этой публикации, рассказал, с какими огромными трудностями столкнулись ученые при подготовке «Краткого описания». Эта многослойная, со вставками, с якутскими текстами рукопись требовала большой и специальной, весьма трудоемкой работы как русских, так и якутских текстологов. Таким образом, и этот труд Худякова станет достоянием науки — правда, через сто с небольшим лет после его

написания.

Таков был долгий путь трех худяковских рукописей к исследователю и читателю. Так постепенно заполняются «белые пятна» в науке — неизвестные величины в «системе линейных уравнений» исторического знания.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И. А. ХУДЯКОВА

1842, 1 января — В Кургане (Тобольская губерния) родился Иван Александрович Худяков.

1842–1852 — Худяков живет в Ишиме, последние годы учится в уездном училище.

1853–1858 — Худяков учится в тобольской гимназии.

1858 — Поступление в Казанский университет.

1859 — Худяков перевелся в Московский университет.

1859–1860 — Участие в «леонтьевской истории», за что Худяков исключен из университета и вскоре восстановлен.

1860 — Вышла первая составленная Худяковым книга — «Сборник великорусских народных исторических песен для юношества».

Октябрь — Вышел 1-й выпуск «Великорусских сказок» Худякова.

1861, февраль — Вышел 2-й выпуск «Великорусских сказок» Худякова.

Осень — Вышли «Великорусские загадки» Худякова.

Исключен из университета как не сдавший переходных экзаменов.

1862, весна — Переезд в Казань для сдачи кандидатских экзаменов.

Осень — Переезд в Петербург. Вышел 3-й выпуск «Великорусских сказок».

1863 — Вышли «Материалы для изучения народной словесности» и «Русская книжка» Худякова.

1864 — Вышли «Великорусские загадки». Работа выполнялась по заданию Русского географического общества. Последнее наградило Худякова медалью.

1864 — Вышел 1-й выпуск «Рассказов о старинных людях» Худякова.

1865 — Вышли 2—4-е выпуски «Рассказов о старинных людях» Худякова.

24–25 мая — Худяков женился на Леонилле Александровне Лебедевой.

Июнь — Худяков приехал в Москву, познакомился с Ишутиным и установил связи с Ишутинским кружком.

Начало августа — Вышел «Самоучитель для начинающих обучаться грамоте» Худякова.

7 августа — Отъезд Худякова с женой в Женеву для установления связей с русской политической эмиграцией. Встречи с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, Н. И. Утиным, М. К. Элпидиным, Н. Я. Николадзе.

Конец октября — Цензурой запрещен и арестован «Самоучитель для начинающих обучаться грамоте».

Ноябрь — Возвращение Худякова ив Женевы в Россию.

1866 — Вышли «Рассказы о великих людях средних и новых времен» Худякова.

Конец февраля — К Худякову явился Д. В. Каракозов. Худяков выехал в Москву для встречи с ишутинцами.

Март — Встречи с Каракозовым.

4 апреля — Покушение Каракозова на жизнь Александра II.

7 апреля — Арест Худякова.

21 мая — Худяков переведен из Никольской куртины Петропавловской крепости в Алексеевский рavelин.

18 августа — *24 сентября* — Заседания Верховного уголовного суда по делу о покушении Каракозова.

24 сентября — Приговор верховного уголовного суда о лишении Худякова всех прав состояния и ссылке на поселение в отдаленнейшие места Сибири.

4 октября — Гражданская казнь на Смоленском поле. Отправка из Петербурга в Сибирь.

1867, 1 февраля — Худяков прибыл в Иркутск и помещен в иркутскую тюрьму.

22 февраля — Отправка Худякова из Иркутска в Якутск.

11 марта — Худяков прибыл в Якутск.

7 апреля — Худяков доставлен в Верхоянск.

10 декабря — Худяков закончил «Опыт автобиографии».

1867 — Умер отец Худякова — Александр Гаврилович Худяков.

1867–1868 — Худяковым составлены якутско-русский и русско-якутский словари с краткой грамматикой, написаны работы «Краткое описание Верхоянского округа», «Материалы для характеристики местного языка, поэзии и обычаев», статьи «Успехи человека в прошедшем и будущем», «Об устройстве в Сибири железной дороги», «О вымышленных и действительных Робинзонах».

1868–1869 — Худяков ведет температурные наблюдения по поручению Г. Майделя.

1869, январь — Мать Худякова Татьяна Александровна хлопочет о переводе сына в более южные места Якутской области.

1869, весна — лето — Признаки душевного расстройства у Худякова.

12 декабря — Заседание Якутского статистического комитета, на котором рассматривались рукописи Худякова.

19 декабря — Возвращение рукописей статистическим комитетом верхоянскому исправнику для передачи Худякову.

1871–1873 — Переписка якутских, иркутских и петербургских властей по поводу возможности перевода Худякова и помещения его в больницу для душевнобольных.

1874, январь — III отделением дано разрешение на перевод Худякова в Якутск.

31 августа — Худяков доставлен в Якутск и помещен в больницу.

1875, 12 июня — Худяков после хлопот матери и ведомственной переписки отправлен из Якутска в сопровождении приехавшей за ним матери и казака в Иркутск для помещения в психиатрическую больницу.

17 июля — Худяков доставлен в Иркутск.

1876 — Смерть матери Худякова.

1876, 19 сентября — Худяков скончался и погребен в больничной части Иркутского кладбища в одной могиле с двумя неизвестными бродягами.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



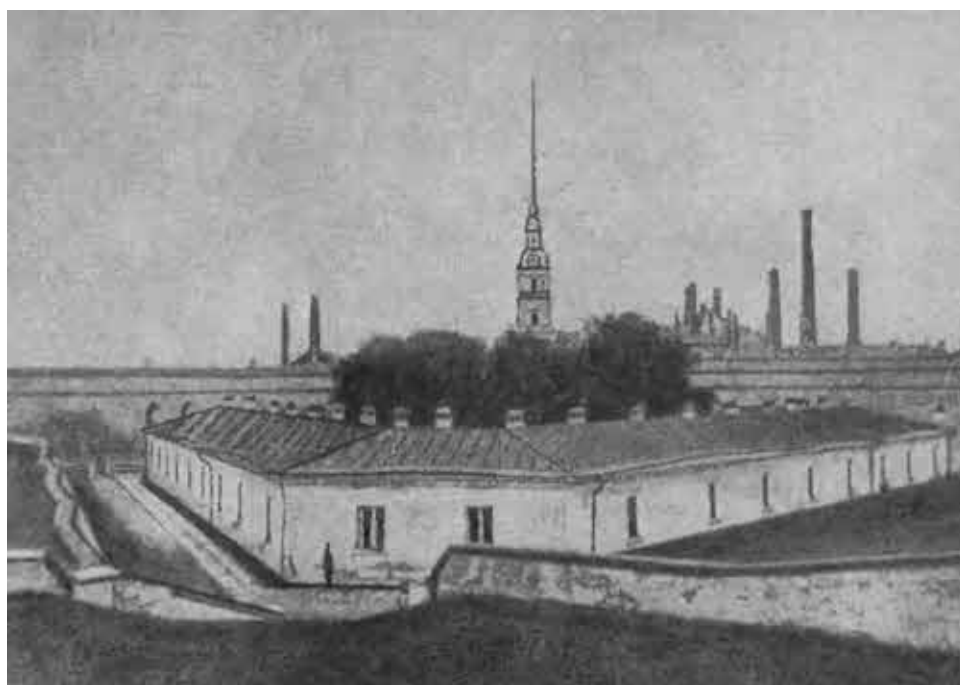
Д. Каракозов.



Е. Печаткина.



Д. Юрасов.



Алексеевский рavelин Петропавловской крепости.



Н. Ишутин.

Задача в почтовой 4^а апреля.
 фигуры предостановлены
 шаш IV.

4								
7								
6								
5								
4								
3								
2								
1								
	a	b	c	d	e	f	g	h

Задача...
 29 апреля 1866. Этот случай...
 на 4 апреля в почтовой 4 апреля...
 до 29 апреля, до 29 апреля...
 29 апреля 1866. Этот случай...

Шахматная задача в память 4 апреля (день покушения Каракозова), найденная у М. Левенталя.



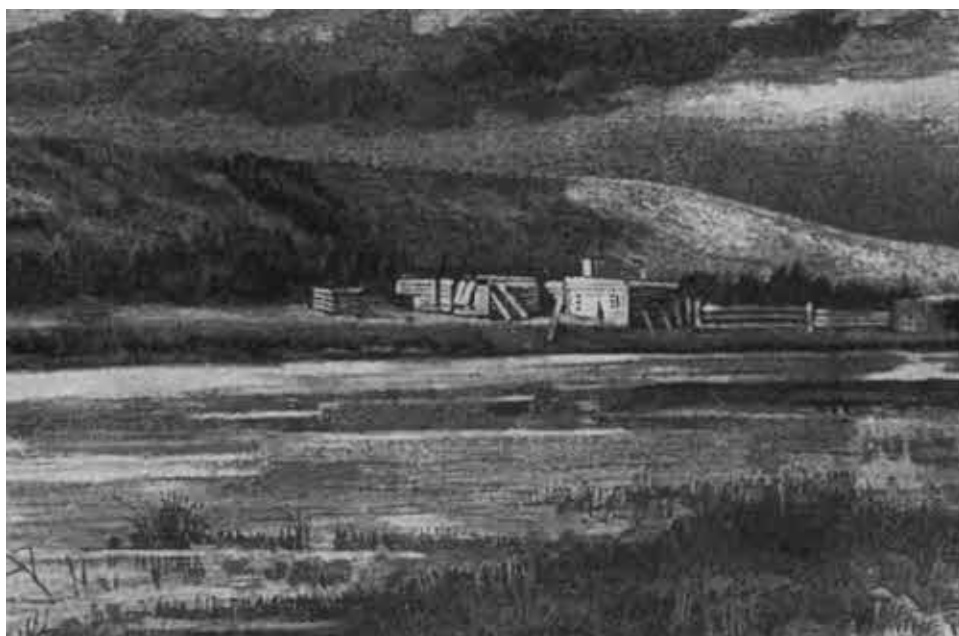
Иркутск. Начало 80-х годов.



Начало рукописи И. А. Худякова «Краткое описание Верхоянского округа».



Верхоянск. Начало 80-х годов.



Дома якутов близ Верхоянска.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения И. А. Худякова

- Сборник великорусских народных исторических песен. М., 1860.
- Великорусские сказки. Вып. 1. М., 1860.
- Великорусские сказки. Вып. 2. М., 1861.
- Великорусские загадки. М., 1861.
- По поводу двух выпусков песен П. В. Киреевского. «Московские ведомости», 1861, № 44.
- Великорусские сказки. Вып. 3. Спб., 1862.
- Рецензия на «Песни, собранные П. И. Рыбниковым, ч. II», М., 1862. «Время», 1862, № 12.
- Русская книжка. I. Сказки, пословицы, загадки, песни. Русские города. Былины. II. Стихотворения, рассказы, басни. Народный месяцеслов. Спб., 1863.
- Материалы для изучения народной словесности. Спб., 1863.
- Женщина допетровской Руси. «Модный магазин», 1863, № 20–22.
- Основной элемент народных сказок. «Библиотека для чтения», 1863, № 12.
- Великорусские загадки. «Этнографический сборник», 1864, вып. VI, № 6.
- Народные исторические сказки. «Журнал Министерства народного просвещения», 1864, № 3.
- Рассказы о старинных людях. Вып. 1. Древние индийцы и египтяне. Спб., 1864.
- Рассказы о старинных людях. Вып. 2. Древние финикияне, ассирияне и персы. Спб., 1865.
- Рассказы о старинных людях. Вып. 3. Древние греки. Спб., 1865.
- Рассказы о старинных людях. Вып. 4. Древние римляне. Спб., 1865.
- Самоучитель для начинающих обучаться грамоте. Спб., 1865.
- Для истинных христиан, сочинение Игнатия. Женева, 1865.
- Рассказы о великих людях средних и новых времен. Спб., 1866.
- Второе издание: Спб., 1871.
- Древняя Русь. Спб., 1867.
- Жизнь природы и человека. Женева, 1867. (Переименованный

«Самоучитель для начинающих обучаться грамоте».)

Материалы для истории цензуры при Александре II (извлечение из бумаг И. А. Худякова). «Общее дело». Женева, 1877, № 1.

Опыт автобиографии. Женева, 1882.

Верхоянский сборник. Якутские сказки, песни, загадки и пословицы, а также русские сказки и песни, записанные в Верхоян-оком округе И. А. Худяковым. «Записки Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества по этнографии», т. I, вып. 3, Иркутск, 1890.

Отец Макарий в трезвом и пьяном виде. Женева, 1901 (Переименованные «Материалы для истории цензуры при Александре II».)

Из воспоминаний шестидесятника. «Исторический вестник», 1906, кн. X–XII.

Образцы народной литературы якутов. Ч. I. Тексты, образцы народной литературы якутов, изд. под ред. Э. К. Пекарского; т. II, вып. I, Спб., 1913; вып. II, Пг., 1918.

Записки каракозовца. М.—Л., 1930.

Великорусские сказки в записях И. А. Худякова. М.—Л., «Наука», 1964.

Литература о жизни и сочинениях

А — в (Адрианов А. В.), Славный сибиряк И. А. Худяков. Спб., 1911.

Базанов В., Новые люди или нигилисты? (К истории русского демократического народоведения.) «Русская литература», 1959, № 2.

Базанов В., И. А. Худяков и покушение Каракозова. «Русская литература», 1962, № 4.

Базанов В., Накануне «хождения в народ». «Великорусские сказки в записях И. А. Худякова». М.—Л., 1964, вводная статья.

Баренбаум И. Е., Из истории легальной пропаганды 60-х годов (Книгоиздательская деятельность П. А. Гайдебурова и пропагандистская брошюра И. А. Худякова). «Русская литература», 1967, № 3.

Баренбаум И. Е., Из истории русских прогрессивных издательств 60-х — 70-х годов XIX века. (Женская издательская артель М. В. Трубниковой и Н. В. Стасовой.) «Книга. Исследования и материалы». Сборник XI, изд. «Книга». М., 1965.

Белозерский (А. В. Адрианов), Иван Александрович Худяков. (Из воспоминаний шестидесятника. Автобиография. «Исторический вестник» — октябрь, ноябрь и декабрь.) «Сибирская мысль», 1907, № 130 (от 4

апреля), № 131 (от 5 апреля), № 133 (от 7 апреля); «Сибирская жизнь» № 3 (от 12 апреля).

Белы и Я., Три года в Верхоянске. «Каторга и ссылка», 1925, кн. 1(14).

Бобров Е., Две книжки для народа в шестидесятые годы. «Варшавские университетские известия», 1911, № 1.

Бобров Е. А., Из биографии И. А. Худякова. «Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук», 1910, т. XV, кн. I.

Бобров Е. А., Труды И. А. Худякова в области русской словесности и фольклора. «Русский филологический вестник», 1908, вып. IV.

Бобров Е. А., Научно-литературная деятельность Ивана Александровича Худякова. «Журнал Министерства народного просвещения», 1908, № 8.

Виленская Э. С., Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). М., «Наука», 1965.

Витязев Ф. (публикатор), Из неизданной переписки П. Л. Лаврова и Г. З. Елисеева. «Литературное наследство», т. 19–21. М»1935.

Дубровский К., Забытый этнограф-фольклорист. Памяти славного сибиряка И. А. Худякова. «Сибирские записки», 1916, № 2.

Евгеньев В., Дело Каракозова и редакция «Современника». «Заветы», 1914, № 6.

Записки сенатора Еоиповича. «Русская старина», 1909, март.

Клебенский М., «Европейский революционный комитет» в деле Каракозова. Сб. «Революционное движение 1860 годов». М., 1932.

Клебенский М. М., Ишутинский кружок и покушение Каракозова. М., 1928.

Клебенский М. (публикатор), Ишутинцы в тюрьме и ссылке. «Красный архив», 1929, т. 2 (33).

Клебенский М. М. Материалы об И. А. Худякове. «Каторга и ссылка», 1928, кн. 8–9 (45–46).

Клебенский М. М., И. А. Худяков. Революционер и ученый. (Биографический очерк.) М., 1929.

Клебенский М. (публикатор), Покушение Каракозова 4апреля 1866 г. С предисловием А. А. Шилова. «Красный архив», 1926, т. 4(17).

Козьмин Б. П., Современник о каракозовском процессе (письма М. И. Семевского). «Былое», 1925, № 24.

Колосов Е. Е., Н. К. Михайловский в деле Каракозова. «Былое», 1924, № 23.

Колосов Е., Молодые народники 60-х годов. «Сибирские записки»,

1917, № 2.

Колосов Е., Спорный вопрос каракозовского дела. «Каторга и ссылка», 1924, кн. 3(10).

Кошелев Я. Р., Русская фольклористика Сибири (XIX — начало XX в). Томск, 1962.

Кубалов Б., Каракозовец И. А. Худяков в ссылке. (К пятидесятилетию со дня смерти.) «Каторга и ссылка», 1926, кн. 7–8 (28–29).

Лопатин Г., Воспоминания о И. А. Худякове. «Вперед!», 1876, № 47. Перепечатано в книге: «Герман Александрович Лопатин (1845–1918). Автобиография. Показания и письма. Статьи и стихотворения. Библиография». Пг., 1922.

Лурье Г., Пионер якутского краеведения И. А. Худяков (к 60-летию со дня смерти. 1842–1876). «Советское краеведение», 1936, № 11.

Майдель Г., Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868–1870 гг. Приложение к 74-му тому «Записок императорской Академии наук», № 3. Спб, 1874.

Мионов И. Я., Ценная рукопись И. А. Худякова. «Сибирский архив», 1913, № 4.

П. (И. С. Ивановская), Маленькая заметка об Ив. Ал. Худякове. «Каторга и ссылка», 1928, кн. 8–9 (45–46).

Пантелеев Л. Ф., Воспоминания. М., 1958.

Пекарский Эд., Заметка по поводу редакции «Верхоянского сборника» И. А. Худякова. «Известия. Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества», 1895, т. XXVI, № 4–5.

(Пекарский Э.) К статьям г. Е. Боброва о Худякове. «Живая старина», вып. 1, 1909.

Пекарский Э., И. А. Худяков и ученый обозреватель его трудов. «Сибирские вопросы», 1908, вып. XI, № 31–32.

Покушение Каракозова. Стенографический отчет по делу Д. Каракозова, И. Худякова, Н. Ишутина и др. Тт. I–II. М.—Л., 1928–1930.

Попов И., И. А. Худяков. «Русские ведомости», 1911, № 301.

Потанин Г. Н., Воспоминания. «Сибирская жизнь». Томск, 1913, № 103.

Пушкарев Л. Н., Из истории русской революционно-демократической этнографии. И. А. Худяков. «Советская этнография», 1949, № 3.

Пушкарев Л. Н., Критика религии и церкви И. А. Худяковым. Сб. «Вопросы истории религии и атеизма», вып. 3. М., 1958.

А. В. (А. Н. Пыпин), Верхоянский сборник И. А. Худякова. «Вестник Европы», 1890, № 9.

- Пыпин А. Н., История русской этнографии. Тт. I–IV. Спб., 1890–1892.
- Рубакин И. А., Вводная статья к кн: «И. А. Худяков. Древняя Русь». Нью-Йорк, (1918).
- Савченко С. В., Русская народная сказка. (История собирания и изучения.) Киев. 1914.
- Смерть И. А. Худякова. Некролог. «Вперед!», 1876, № 46.
- Соколов Ю. М., Русский фольклор. М., 1941.
- Стасов Д. В., Карак'озовский процесс (некоторые сведения и воспоминания). «Былое», 1906, № 4.
- Стеркин Т., Ученый-революционер. «Сибирские огни», 1960, № 4.
- Филиппов Р. В., Революционная народническая организация Н. А. Ишутина — И. А. Худякова (1863–1866). Петрозаводск, 1964.
- Цамутали А. Н., История России в освещении И. А. Худякова. «История и историки. Историография истории СССР». М., 1965.
- Записки П. А. Червина. (Новые материалы по делу каракозовцев.) Кострома, 1918.
- (Черкезов В.), И. А. Худяков. «Вперед!», 1876, № 47.
- Шилов А. А., Каракозов и покушение 4 апреля 1866 г. Пг»1919.
- Шустерман С. С., Новые материалы о Худякове. «Якутский архив», 1960, вып. 1.
- Шустерман С. С., Подвиг революционера. «Вопросы истории», 1961, № 11.
- Эргис Г. У., О рукописи И. А. Худякова «Краткое описание Верхоянского округа. 1868 г.». «Сборник статей и материалов по этнографии народов Якутии», вып. II. Якутск, 1961.
- Я — в Д., И. А. Худяков. «Московское обозрение», 1876, № 7.

INFO

Виленская, Эмилия Самойловна.

Худяков. [1842–1876]. М., «Мол. гвардия», 1969.

175 с.; 4 л. илл. (Общ. тит. л.; Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Основана в 1933 г. М. Горьким. Вып. 7 (467)). «Соч. И. А. Худякова», и лит. о нем: с. 171–174, и библиогр. в примеч.: с. 161–168.

21 см. 65.000 экз. 46 к. В пер.

1. Худяков, Иван Александрович, о нем. 1. Революционное движение в России, 19 в.

№ 30162 1(69-756391 п

3 № 630; № 6989

Вс. кн. пал. 29 IX 69

6-4

В444

notes

Примечания

Судя по большинству сказок, опубликованных Худяковым в первом выпуске, имение, где он жил, находилось близ села Жолчино Рязанского уезда Рязанской губернии.

Во втором выпуске «Великорусских сказок» подавляющее их большинство записано в селе Мишино Зарайского уезда Рязанской губернии, из чего можно заключить, что там и был Худяков зимой 1860/61 года.

Об исторических воззрениях Худякова есть специальная статья А. Н. Цамутали «История России в освещении И. А. Худякова». Сб. «История и историки. Историография истории СССР». М., 1965, стр. 440–458.

Беседка, конечно, была с рамами и стеклами; стеклянные двери открывались прямо в сад, без сеней. Холод был страшный. — *Прим. авт.*

Худяков утверждает, что если бы Каракозов зарядил умеренно пистолет, то Комиссаров не мог бы помешать ему, так как Каракозов был силен и успел бы выстрелить из другого ствола. — *Прим. А. Трофимова.*

6

С любовью.

Проект Елисеева опубликован в книге «Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания. Г. З. Елисеев. Воспоминания». М.—Л., 1938, стр. 458—467, где сочтен за реакцию Елисеева на прочитанные им за границей воспоминания Худякова.

comments

Комментарии

1

«Голос минувшего», 1918, № 10–12, стр. 161.

Там же, стр. 161–162.

К. Маркс, Политический индифферентизм. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 18, стр. 298.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 40–48.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 19, стр. 194.

Там же, т. 21, стр. 184.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 20, стр. 104.

Там же, т. 22, стр. 119.

Там же, стр. 118–119.

Там же, стр. 120–121.

Мих. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». Спб., 1908, стр. 366.

Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. VII. М., 1950, стр. 889.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 118–119.

Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).
Рукописный отдел (далее РО ИРЛИ), Р, V., колл. XXVII, папка 1, № 2, л. 13
об.

В. Г. Базанов, И. А. Худяков и покушение Каракозова. «Русская литература», 1962, № 4, стр. 153–154.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 130.

«Русско-польские революционные связи», т. 2. М., 1963. стр. 623.

Герман Александрович Лопатин (1845–1918). Пг., 1922, стр. 136–137.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 98, 11.

Я. Белый, Три года в Верхоянске. «Каторга и ссылка», 1925, кн. 1(14), стр. 212–213.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 150.

Н. К. Михайловский, Полн. собр. соч., т. 7. Спб., 1909, стр. 466.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 18.

Там же, стр. 11–12.

Там же, стр. 17.

Там же, стр. 19.

Там же.

Там же, стр. 20.

Там же, стр. 25.

Там же, стр. 25–26.

Там же, стр. 28.

Там же, стр. 24.

Там же, стр. 27.

Там же, стр. 31–32.

Там же, стр. 49.

Там же, стр. 36.

Там же.

Там же, стр. 37.

Там же, стр. 62.

Там же.

Там же.

Там же, стр. 65.

«Сибирская жизнь». Томск, 1913, № 103.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 65–66.

Там же, стр. 66.

В. Г. Базанов, Накануне «хождения в народ». «Великорусские сказки в записях И. А. Худякова». М.—Л., 1964, стр. 17.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 68.

Там же.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 51.

Там же.

Там же, стр. 51–52.

РО ИРЛ И, Р. V., колл. XXVII, папка I, № 2, л. 34–34 об.

Отчет Русского географического общества за 1863 год. Спб., 1864, приложение, стр. 97–98.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 27.

В. Г. Базанов, «Великорусские сказки...», стр. 16.

Герман Александрович Лопатин, стр. 136.

«Современник», 1864, № 10, отд. II, стр. 192.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 73.

Там же, стр. 81.

Там же.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 151.

Там же, стр. 154.

РО ИРЛИ, Р. V., колл. XXVII, папка I, № 2, л. 38.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 82.

Там же, стр. 71.

Там же, стр. 82.

Мих. Лемке, Указ, соч., стр 63.

«Книжный вестник», 1863, № 24, стр. 437.

Там же, стр. 438.

«Русское слово», 1864, № 7, стр. 59.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 53.

Там же, стр. 77.

Там же, стр. 76.

Н. К. Михайловский, Полн. собр, соч., т. 7, стр. 446.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 151.

Там же, стр. 154.

Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания. М., 1958, стр. 329–330.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 71.

Там же.

Там же.

Там же, стр. 71–72.

Там же, стр. 72–73.

Там же, стр. 83.

А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XIX.
Пг., 1922, стр. 52–53.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 86.

Там же, стр. 91.

«Русско-польские революционные связи», т. 2, стр. 589.

И. А. Худяков. Опыт автобиографии, стр. 108–109.

(Без автора) «Одна из многих». Спб., 1883, стр. 67.

Герман Александрович Лопатин, стр. 137.

Там же, стр. 139.

Там же, стр. 137.

Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 272, оп. I, д. 13, лл. 101–103.

М. М. Клеветский, И. А. Худяков, Революционер и ученый. М., 1929, стр. 72.

ЦГАОР, ф. 272, оп. I, д. 12, л. 284.

Герман Александрович Лопатин, стр. 26–27.

ЦГАОР, ф. 95, оп. I, д. 222, л. 15 об.

Герман Александрович Лопатин, стр. 137.

Газета «Общее дело». Женева, 1877, № 1, стр. 16.

Л. Н. Пушкарев, Критика религии и церкви И. А. Худяковым.
«Вопросы истории религии и атеизма. Сборник статей III». М., 1955, стр.
200.

Там же, стр. 200–201.

«Рассказы о старинных людях», вып. 3, Спб., стр. 5.

Там же, стр. 6.

Там же, стр. 8–9.

И. Е. Баренбаум. Из истории русских прогрессивных издательств 60-х-70-х годов XIX века. «Книга. Исследования и материалы». Сборник XI. М., 1965, стр. 235.

«Рассказы о старинных людях», вып. 3, стр. 23.

Там же, стр. 32.

Там же, вып. I, Спб., 1864, стр. 25.

Там же, стр. 25–27.

Л. Н. Пушкарев, Указ, соч., стр. 202.

«Рассказы о великих людях средних и новых времен». Спб., 1866, стр.
2.

«Книжный вестник», 1866, № 4, стр. 96.

«Рассказы о великих людях средних и новых времен». Спб., 1866, стр.
2.

Там же, стр. 4, 16, 28, 31, 134.

Там же, стр. 89–90.

Там же, стр. 122.

Там же, стр. 18, 77, 142.

РО ИРЛИ, Р. V., колл. XXVII, папка I, № 2, лл. 12–12 об.

Герман Александрович Лопатин, стр. 138.

В. Г. Базанов, «Великорусские сказки...», стр. 36–37.

Там же, стр. 37.

«Самоучитель для начинающих обучаться грамоте». Спб., 1865, стр. 157–158.

В. Г. Базанов, «Великорусские сказки...», стр. 37.

Л. М. Добровольский, Запрещенная книга в России. 1825–1904. М., 1962, стр. 53.

РО ИРЛИ, Р. V.. колл. XXVII, папка I, № 2, л. 12 об.

Там же.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 134.

А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XXVIII. М., 1963, стр. 158.

Л. М. Добровольский, Указ, соч., стр. 211.

Герман Александрович Лопатин, стр. 138.

Л. М. Добровольский, Указ, соч., стр. 212.

Герман Александрович Лопатин, стр. 138.

«Красный архив», 1926, т. IV (XVII), стр. 115.

«Социальный вопрос». (Казань), 1888, стр. 137–138.

Герман Александрович Лопатин, стр. 137.

РО ИРЛИ, Р. V., колл. XXVII, папка I, № 2, л. 13 об.

«Исторический вестник», 1902, № 1, стр. 126.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 111.

РО ИРЛИ, Р. V., колл. XXVII, папка I, № 2, л. 13 об.

С. Богданов, Ишутин. «Каторга и ссылка», 1925, кн. 4(17), стр. 249.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 113.

Там же, стр. 118.

«Русско-польские революционные связи», т. 2, стр. 560–565.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 153.

«Русско-польские революционные связи», т. 2, стр. 623.

Там же.

Там же, стр. 562.

Там же, стр. 606.

Там же, стр. 543.

Е. Колосов, Н. К. Михайловский в деле Каракозова. «Былое», 1924, № 23, стр. 52.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 97.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 154.

Там же.

М. М. Клеветский, Указ, соч., стр. 122.

ЦГАОР, 272, оп. 1, д. 13, л. 88.

Э. С. Виленская. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.).
М., 1965, стр. 374.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 106.

Газета «Общее дело», 1877, № 1. Материалы для истории цензуры при Александре II (Извлечение из бумаг И. А. Худякова).

Герман Александрович Лопатин, стр. 138.

М. М. Клевенский, Указ, соч., стр. 81.

Л. Н. Пушкарев, Указ, соч., стр. 201–207.

Е. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 152.

Л. Н. Пушкарев, Указ, соч., стр. 208.

Э. С. Виленская, Указ, соч., стр. 375–376.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 150.

Там же, стр. 151.

Там же, стр. 155.

Там же, стр. 154.

Сборник «О минувшем». Спб., 1909, стр. 310–311.

Г. Вырубов, Революционные воспоминания. «Вестник Европы», 1913, № 2, стр. 49, 52.

Э. С. Виленская, Указ, соч., стр. 307.

Герман Александрович Лопатин, стр. 139.

А. Пеликан. Во второй половине XIX века. «Голос минувшего», 1915, № 4, стр. 181.

Покушение Каракозова. Стенографический отчет по делу Д. Каракозова, И. Худякова, Н. Ишутина и др., т. II. М.—Л., 1930, стр. 352.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 113–114.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 150–151.

Там же, стр. 155.

«Красный архив», 1926, т. IV (XVII), стр. 111.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 112.

«Красный архив», 1926, т. IV (XVII), стр. 112.

Э. С. Виленская, Указ, соч., стр. 425.

Там же, стр. 426.

Там же.

И. А. Худяков, Записки каракозовца. М.—Л., 1930, стр. 201, прим. 121.

ЦГАОР, ф. 272, оп. 1, д. 10, л. 2.

Там же, лл. 2–3.

Там же, д. 12, л. 24 об.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 114.

Там же, стр. 120.

Там же, стр. 124–125.

Герман Александрович Лопатин, стр. 139.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 153.

Там же.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 139.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 12, стр. 180.

ЦГАОР, ф. 272, оп. 1, д. 10, лл. 35–35 об.

Там же, лл. 27–30.

Там же, ф. 95, оп. 1, д. 163, т. 1, лл. 16–16 об.

Там же, лл. 24–25.

П. А. Кропоткин, Записки революционера. М., 1966, стр. 236–237.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 121.

Там же, стр. 123–124.

Там же, стр. 124.

Центральный государственный исторический архив (ЦГИА), ф. 1282,
оп. 1, 1866 г., д. 259, лл. 7—10.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 153.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 126–127.

Там же, стр. 111.

ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, д. 407, л. 40.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 158.

Там же, стр. 112.

Там же, стр. 129, 131.

212

ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, д. 407, л. 40.

РО ИРЛИ, Р. V.; колл. XXVII, папка I, № 2, л. 36.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 110.

Там же, стр. 132.

Там же.

«Каторга и ссылка», 1928, кн. 8–9 (45–46), стр. 227.

М. М. Клеветский, И. А. Худяков. Указ. соч., стр. 102.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 141.

Там же, стр. 135.

Там же, стр. 141.

Там же, стр. 146.

Там же, стр. 150–151.

Покушение Каракозова. Стенографический отчет... т. I, М., 1928, стр. 288.

Дневник П. А. Валуева, т. II. М., 1961, стр. 147.

Покушение Каракозова. Стенографический отчет... т. II, стр. 353:

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 171.

ЦГИА, ф. 1405, оп. 64, 1866 г., д. 7637, л. 2.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 174.

Там же, стр. 176.

С. Богданов, «Каторга и ссылка», 1925, кн. 4(17), стр. 248, 249.

«Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. II, Саратов, 1959, стр. 103.

Б. Кубалов, Каракозовец И. А. Худяков в ссылке. «Каторга и ссылка», 1926, кн. 7–8 (28–29), стр. 168.

Там же.

В. Ногин, На Полюсе холода. М., 1919, стр. 44–45.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 181.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 150–151.

Там же, стр. 151.

Там же, стр. 152.

С. С. Шустерман, Подвиг революционера. «Вопросы истории», 1961, № И, стр. 211.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 182.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 152.

243

Там же.

Там же.

Там же, стр. 155.

Я. Белый, Указ, соч., стр. 207.

Там же, стр. 212.

Там же.

С. С. Шустерман, Новые материалы о И. А. Худякове. «Якутский архив», вып. 1. Якутск, 1960, стр. 47.

Герман Александрович Лопатин, стр. 139.

С. С. Шустерман, «Вопросы истории», 1961, № 11, стр. 212.

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4, стр. 155.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 182–183.

Г. Майдель, Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868–1870 гг. Спб., 1874, стр. 43–44.

И. А. Худяков, Опыт автобиографии, стр. 182.

Б. Кубалов, Указ, соч., стр. 170.

К. Дубровский, Забытый этнограф-фольклорист. «Сибирские записки», 1916, № 2, стр. 155.

Б. Кубалов, Указ, соч., стр. 171, 174.

С. С. Шустерман, «Якутский архив», вып. I, стр. 46.

Там же, стр. 46–47.

Э. Пекарский, И. А. Худяков и ученый обозреватель его трудов.
«Сибирские вопросы», 1908, № 31–32, стр. 65.

Я. Белый, Указ, соч., стр. 213.

«Каторга и ссылка», 1928, кн. 1 (38), стр. 121.

Я. Белый, Указ, соч., стр. 213.

Б. Кубалов, Указ, соч., стр. 188.

«Красный архив», 1929, т. II (XXXIII), стр. 320.

Б. Кубалов, Указ, соч., стр. 180.

Там же, стр. 182.

Я. Белый, Указ, соч., стр. 213.

Б. Кубалов, Указ, соч., стр. 191.

Там же, стр. 183.

Там же, стр. 187–188.

Там же, стр. 189.

П. (П. С. Ивановская), Маленькая заметка об Ив. Ал. Худякове.
«Каторга и ссылка», 1928, кн. 8–9 (45–46), стр. 219.

М. М. Клеветский, Указ. соч... стр. 118; С. С. Шустерман, «Вопросы истории», 1961, № 11, стр. 213.

М. М. Клеветский, Указ, соч., стр. 118–119.

К. Дубровский, Указ, соч., стр. 153, 154.

Белозерский, Иван Александрович Худяков. «Сибирская мысль», 1907,
№ 130 от 4 апреля.

П. (П. С. Ивановская), Указ, соч., стр. 218–219.

И. А. Худяков, Записки каракозовца, стр. 9—10.

Л. И. Пушкарев, Указ, соч., стр. 187.

С. С. Шустерман, «Якутский архив»; его же, «Вопросы истории».

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1962, № 4

В. Г. Базанов, «Русская литература», 1959, № 2, стр. 156.

В. Г. Базанов, «Великорусские сказки...», стр. 47.

«Литературное наследство», т. 19–21, М., 1935, стр. 269.

Там же, стр. 270.

Там же, стр. 271.

Там же, т. 53–54, М., 1949, стр. 204–209, 212.

Белозерский, «Сибирская мысль», 1907, № 130.

291

РО ИРЛИ, ф. 114, оп. 1, ед. хр. 2, лл. 1–1 об., 3 об.

Верхоянский сборник. Якутские сказки, песни, загадки и пословицы, а также русские сказки и песни, записанные в Верхоянском округе И. А. Худяковым. «Записки Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества по этнографии», т. 1, вып. 3. Иркутск, 1890, предисловие.

Белозерский, «Сибирская мысль», 1907, № 130.

«Верхоянский сборник», стр. 213.

Б. Кубалов, Указ, соч., стр. 174.

С. С. Шустерман, «Якутский архив», 1960, вып. 1, стр. 46.

Эд. Пекарский, Заметка по поводу редакции «Верхоянского сборника»
И. А. Худякова. «Известия Восточно-Сибирского отдела Русского
географического общества», т. XXVI, № 4–5. Иркутск, 1895, стр. 197.

И. Я. Миронов, Ценная рукопись И. А. Худякова. «Сибирский архив», 1913, № 4, стр. 223.

Л. Н. Пушкарев, Из истории революционно-демократической этнографии. И. А. Худяков. «Советская этнография», 1949, т. 3, стр. 191.

«Советский фольклор. Сборник статей и материалов», № 2–3. 1935,
М.-Л., 1936, стр. 438.